

# История

1989

---

9



Город II.  
1988.  
Иллюстрация  
к сборнику стихов  
Цецилии Динере  
«Борозда в Никуда»

# Даугава

1989

СЕНТЯБРЬ (147)

9

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.  
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

## В Н О М Е Р Е:

Проза и поэзия

- Ян **РАЙНИС**. Даугава. Фрагменты. Вступительная  
статья Ровальда Добровенского . . . . . 3  
**Елена МАКАРОВА**. Послезавтра в Сан-Франциско. 11  
**Леонид ЧЕРЕВИЧНИК**. Стихотворения. Переводы . 37

50 лет с начала второй мировой войны

- Эгон ЛИВС**. С войны. Фрагмент из книги воспоминаний «Шрам на внутренней стороне губы». Вступление Эрика Ханберга . . . . . 42

Документы эпохи

- Свидетельствует Иоахим фон Риббентроп**. Выдержки из стенограммы допроса министра иностранных дел III рейха Иоахима фон Риббентропа на процессе главных военных преступников в Нюрнберге . . . . . 77

Публицистика

- Александр ПОРТНОВ**. Милитаризм . . . . . 83  
**Ада КРАМЕР**. Ссылка из Латвии . . . . . 89

(см. на обороте)

**В Н О М Е Р Е [окончание]:**

Обзоры, размышления, рецензии

**Борис РАВДИН. Что пили англичане! . . . . .** 96

Искусство

**Лилия ДИНЕРЕ. Каменный сад . . . . .** 99

**К нашим иллюстрациям . . . . .** 36

Memoria

**Людмила ЩЕМЕЛЕВА. Несколько граней Э. Н. Гиппиус . . . . .** 100

**Юрий ФЕЛЬЗЕН. У Мережковских по воскресеньям . . . . .** 104

**Зинаида ГИППИУС. Благоухание седин . . . . .** 107

**Картотека Юрасова VI . . . . .** 116

**Почта «Даугавы» . . . . .** 123

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются**

---

Главный редактор  
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция

Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ



## «ДАУГАВА» Я. РАЙНСА

В 1915 году латышскому поэту Яну Райннсу исполнилось 50 лет. Девять лет из этих пятидесяти он прожил к тому времени в вынужденной эмиграции в Швейцарии. Власти Российской империи не без основания считали его одним из вдохновителей революционных событий 1905 года в Латвии; на родине его, бесспорно, ожидала тюрьма и, возможно, гибель.

Жил Райннс в местечке Костаньола в кантоне Лугано, близ итальянской границы, вместе с женой, поэтессой Аспазней; жил под чужим именем. За годы эмиграции были написаны четыре книги стихов и среди них, может быть, главное поэтическое творение Райннса: книга «Конец и начало»; пьесы «Золотой конь», «Индулнс и Ария», «Вей, ветерок!».

Но невесел был полувековой юбилей поэта: война омрачала его. Отчаяние и надежда попеременно завладевали Райннсом, подобно перемежающейся лихорадке. Изматывающие, неделями не отпускающие телесные хвори были, похоже, только внешним выражением беспрестанных душевных мук. Еще в апреле 1915 года войска кайзе-

ровской Германии вторглась в Курземе. Немецкие газеты, которые читал и Райннс, называли Курляндию «идеальным местом для немецких колонистов». Предполагалось расселить здесь 60 тысяч семей. Более полумиллиона беженцев затопили дороги, хлынули в Латгале и в Ригу. В августе-сентябре, словно прнуроченное к юбилею поэта, началось наступление немцев по направлению к Даугавпилсу — в местах его детства, в заветном, любимейшем краю. Германские войска заняли левый берег Даугавы от Лнелварде до Юнелгавы. К Даугаве были прикованы взгляды всех латышей: она разделяла теперь те берега, которые привыкла соединять; кровь и горькие сиротские слезы подняли уровень вод.

Для Райннса все происходящее было еще и трагедией особенной, глубоко личной: рухнуло дело его жизни, его язык и народ оказались под угрозой уничтожения. Без языка, без народа теряло смысл все, чему он отдал свой гений: его художественные, философские прозрения, его поэтические открытия совершены были внутри этого языка и ради этого народа. Сгибаясь

под тяжестью почти непереносимой ноши, переживая временами муку ледящего одиночества, он годами тащил в гору полтора миллиона судеб, миллионы прошлых существований и, как думалось ему, миллионы будущих: они-то однажды и должны были освободить его от нечеловеческого груза, снять небесный свод с плеч усталого атланта и переложить на свои плечи — могучие, юные.

Это чувство вчуже может показаться иэгоистическим перед лицом народного бедствия. Но тут ничего не поделаешь: творцу дорого его творение, и некогда ему притворяться равнодушным. Впрочем же, и в письмах и в стихах тех времен Райнис оплакивал не себя и не свои стихи и драмы; он, как подобает народному поэту, забывал себя, становясь окончательно не свидетелем и даже не носителем народной боли, а ее сгустком, самой болью.

Драматическая поэма «Даугава» начата в 1915 году, продолжена в 1916, 1917, 1918 гг. и окончательно сложилась и оформилась в 1919 году. Осенью того же 1919 года она вышла отдельной книгой и сразу была принята народом с изумлением и благодарностью. Дело в том, что в 1919 году как бы повторилась ситуация 1915-го. Речь шла о самом существовании, о жизни и смерти нации. «Даугава» казалась написанной только что, сию минуту, каждая строчка задевала, мучила, вдохновляла и жгла. Осенью 1919 года так называемая Западная добровольческая армия под водительством авантюриста Бермонта-Авалова, поддерживаемая немцами, наступала на Ригу. В выпущенном позднее сборнике «Стражи Даугавы» говорилось: «Первое издание «Даугавы» Я. Райниса появилось в сентябре 1919 г., незадолго до первого нападения Бермонта на Ригу. Книга была раскуплена в две недели. В руках солдат, как прямо на фронте, так и в ближнем тылу, можно было видеть «Даугаву», в ней люди черпали надежду и отвагу; иные военачальники

говорили тогда, что «Даугава» Райниса стоит целого полка. Если примем во внимание, что «Даугава» написана за несколько лет до нападения Бермонта, что в ней почти с документальной точностью отражены события, происшедшие на берегах Даугавы в октябре-ноябре 1919-го, что поэт как бы угадал места решающих событий, что поэма, наконец, явилась точно к сроку, — нужно признать: «песня скорбных дней» есть предвидение и пророчество для целого народа».

«Даугава», таким образом, одна из самых счастливых — и разом одна из самых несчастных — книг Райниса. Счастье ее в том, что подоспела в самое время и была принята воюющим за свою жизнь и свободу народом, сделалась одною из основ укрепившегося затем независимого государства. Несчастье . . . несчастье было в том же самом. «Даугава» не переиздавалась 56 лет! Она была вычеркнута отовсюду вместе с двадцатью годами латвийской государственности: в недавние еще времена все это было под запретом. Именно любовь к своему народу, отчаяние и нежность, продиктовавшие Райнису единственные слова, да — именно любовь и нежность к своему народу оказались неприемлемыми для идеологов и «построенного в основном» и «развитого» социализма. Нельзя не сказать, что и в момент появления поэма вызвала ожесточенные нападки бывших соратников Райниса, так что П. Стучке пришлось защищать поэта от ретивых критиков.

Сегодня «Даугаву» наконец-то невозбранно читают и ставят на сцене, — и вот впервые ее скорбные строки предстают взгляду иноязычного читателя.

Полностью русский перевод «Даугавы» появится в двухтомном собрании пьес Райниса, подготовленном в издательстве «Лиесма»; оно выйдет в свет в 1990 году, к 125-летию великого поэта.

**Рольд ДОБРОВЕНСКИЙ**

**ДАУГАВА****СИРОТСКИЙ ПЛАЧ****Фрагменты**

Перевела Людмила АЗАРОВА

**ЧЕРНАЯ ДАУГАВА**

Мать Тьмы  
(голос приближается).

Поздно, поздно — тьма и мрак,  
Тороплива Даугава;  
В море ноченьку несет,  
Волны — души человечьи.

Тороплива, но сметлива:  
Кто в черемухе заплакал?  
Соловьи ли припозднились  
Отгоревшею весною?

Даугава-матушка,  
Ты ль не чуешь, ты ль не слышишь  
Жалобы сирот латышских,  
Плач сиротский над рекою?

(Голос удаляется.)

Рядом, рядышком, рядочком,  
Длинный ряд — конца не видно,  
Вдоль по берегу сиротки,  
Словно ласточки к отлету.

Только ласточки щебечут,  
Улетая к жарким странам,  
Нам же некуда податься,  
Если нас лишат отчизны.

Провожали ласточек,  
Радовались щебету.  
Кто ж услышит сиротину?  
Матерь Тьмы и Даугава.

Г о л о с

(в конце темной вереницы).

Матерь Тьмы, Даугава,  
Выслушайте, выслушайте!  
Солнце глухо, внимлешь ты,  
Матерь Тьмы, Даугава!

Д р у г о й г о л о с

(в другом невидимом конце).

Утонуло солнце в море,  
Мрак поднялся в небеса —  
Долго, долго Даугава  
Отблеск в зеркале хранила.

Отблеск в зеркале хранила,  
Вдруг и зеркало ослепло,  
Хоть гляди, хоть не гляди,  
Нет ни искорки в пучине.

Еще голос

*(под черемуховым кустом).*

Дочь огня, ясноглазка,  
Пламенно твое дыханье,  
Кинь свой взгляд, дохни теплом —  
Плат у ноченьки студеной.

Плат у ноченьки студеной,  
Бьет озноб, дрожу и зябну:  
Хлебушко не греет тело,  
Долюшка не тешит сердце.

*(В дальнем конце.)*

Велика беда людская —  
В малых песнях простонала,  
А что в песни не вместилося,  
То слезами пролилося.

Что слезами пролилося,  
Затопило Даугаву,  
Тяжело нести ей, бедной,  
Горе горькое людское.

*(Вблизи и вдалеке.)*

Лучше станем песни петь,  
Чем тревожить Даугаву,  
А великую беду  
В поле по ветру развеем.

Мать Слез

*(голос приближается).*

В древней песне вспоминали,  
Заговаривали раны,  
Прежней муке избавленье,  
Новой ране заживленье.

Сколько их, старинных песен,  
О сиротской рабской доле,  
О сиротском нищем солнце,  
О сиротской черствой корке.

Спели все, одну не спели —  
Что о матушкиной смерти.  
Стали петь, прервался голос,  
В горле слезный ком стоял.

*(Голос удаляется.)*

Сколько их, старинных песен,  
Сколько их, сиротских песен,  
О рабах, о господах,  
О невольничьих трудах,

Да о плети и кнуте,  
Да о боли-маете,  
О жалобах, о столах,  
Да о слезах соленых,  
О судах неправых,  
О войнах кровавых —  
Песни петь и слезы лить —  
Все печаль не утолить.

### **БЕЛАЯ ДАУГАВА**

С т а р и ц а.  
Блеск зеленый, белый свет  
Разлился по поднебесью.  
Даугава в белой пене,  
Ясенева лодочка,  
Воин света в лодке той,  
Воин тьмы навстречу едет.

С и р о т к а  
(встает, выпрямляется).  
Белый отблеск в поднебесье,  
Пена белая на гребне.  
Спишь ли, дремлешь, Пастушок,  
Иль ночные страхи смотришь?  
Черных страхов наглядевшись,  
Солнце белое проспишь.

М у з ы к а н т  
(просыпается).  
Чудный сон! Явился Имант!

Д у д о ч н и к  
(просыпается).  
Спидола приснилась мне!

Г о л о с а п р о с ы п а ю щ и х с я.  
Лачплесиса громкий голос  
Вдруг почудился во сне.

Г о л о с а и з д а л е к а.  
Из дальнего, дальнего далека  
Безвестный наш голос, наш зов и тоска.  
Не сгнуть и не сгинуть во мгле,  
Не плавать крупинкой в всемирном котле —  
Мы жить хотим на земле!

Вернуть, возродить, обрести  
Свою латышскую душу!  
Свою латышскую речь!  
Свою латышскую землю!  
Хотим свободными быть!  
И жить свободно!  
И мы не отступим!  
(Входят юноши — вновь прибывшие глашатаи.)

Г л а ш а т а и.  
Спите всласть — судьбу проспите!  
Где защитники, где щит?  
Наша Латвия навеки  
Латышам принадлежит.

П е р в ы й г л а ш а т а й.  
Берег левый, правый —  
Наша Даугава.  
Курземе и Видземе,  
И Латгале — держава.

О судьба-судьбина!  
Вся — не половина!  
Дух един и речь едина,  
И земля едина.

Г о л о с а.  
Дух един и речь едина,  
И земля едина.

Г о л о с.  
Против лживой лести,  
Против вражьей мести!  
Кто лисица? Кто волчица?  
Кто — мы с вами вместе?

Две змеи лютуют,  
Тянут кровь земную.  
К горлу руки — две змеюки,  
Черные гадюки.

Не укоры — ворам,  
Гибель и позор вам,  
Вам, змеиная порода,  
А земле — свобода!

В с е.  
А земле — свобода!

Е щ е г о л о с.  
Мы зла не хотим. Но зато не про нас  
Ни принужденья, ни чей-то указ.

Нет, мы не хотим в угнетении жить,  
Ни западу, ни востоку служить.

Не жить нам по воле чужой никогда.  
Мы сами работники и господа.

С т а р и ц а.  
Ох вы, дети зоревые,  
Ваши песни огневые.  
Уж позвольте-ка старухе  
Песню спеть на старый лад.

Юноши.  
Пусть поет на старый лад,  
Если любит землю нашу.

Сиротка.  
Не стара — мудра бабуся,  
Время новое предвидит.

Старика.  
Что о Риге говорят?  
Чем ты, Рига, знаменита?

Крыша к крыше, башня к башне,  
Золотой петух на шпиле.  
Что кричит он на заре?  
Пробудись, народ латышский!

Рига — крепость, Рига — ключ.  
Кто построил Рижский замок?  
Латыши таскали камни,  
Латыши крепили стены.

Берегите Рижский замок,  
Охраняйте от набега.  
Град наш стольный, град наш главный —  
Как прожить без головы?

Рига — камень, Рига — щит,  
Землю нашу защитила.  
Кто же Ригу защитит?  
Сын земли, латышский воин.

Наводнили немцы край,  
Отобрать решили замок.  
Встань, очнись, народ латышский,  
Век такому не бывать!

Не внемли речам коварным!  
Береги свой замок, Рига!  
Пояс огненный зажги,  
Ключ железный стереги!

Ночь темна, чернее дегтя,  
У измены шаг бесшумный:  
Отодвинула запоры,  
Погасила алый пояс.

Кто же это сделал тайно,  
Кто же внял посулам лживым?  
Сам латыш, душепродавец,  
Сам латыш, клятвопреступник.

Рабье сердце, жадный дух,  
Вероломец, лихоимец,  
Чем твой грязный труд оплачен?  
Вражьем золотом позорным.

Встанет, встанет ясный день —  
Снова Рига будет нашей,  
Снова будем песни петь,  
Ты в сторонке — слезы лить.

В с е.  
Встань, проснись, народ латышский!  
Защити Рижский замок!

М у з ы к а н т.  
Холм,  
Что встал у меня на дороге?  
Озеро,  
Зачем разлилось на пороге?  
Облако,  
Что ж первым летишь в поднебесье?  
Посторонитесь!

Добрый не слышит и правый не знает.  
Я поднимусь на высокую гору —  
Солнцу поведаю боль и обиду:  
Губят латышский народ чужеземцы,  
Режут кровавым ножом по живому.

Вечно земля согревается солнцем,  
Вечно народы землею владеют,  
Столько ж латышский народ населяет  
Земли свои у Балтийского моря,  
Пять тысяч лет здесь земля латышей.

Солнце встает — латышей пробуждает,  
Месяц плывет — угомон насылает,  
Пять тысяч лет здесь земля латышей.

Солнце взойдет, латышей не увидит —  
На месте замрет.  
Месяц взойдет, латышей не увидит —  
Назад повернет.  
Станут искать, всю вселенную вздыбят,  
Небо расколут и землю растопчут,  
Звезды по черным полям расшвыряют.  
Снова разыщут, сплотят, обнадежат,  
К жизни вернут мой латышский народ.  
Вспыхнет Латвия возрожденная  
В розовой мгле и в серебряной дымке  
Новой звездой!

1916—1919



## ПОСЛЕЗАВТРА В САН-ФРАНЦИСКО

### (ТЕТРАДЬ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ)

Наверное, это подходящее название для того, что я хочу написать. Или не хочу. Никогда не развлекалась таким образом. Мне предложил это Р. в качестве одного из наиболее эффективных способов. Способов чего? Он не объяснил, но я догадалась. Сведение счетов — задача техники. Тетрадь для технических записей презентовал мне К. в прошлый сансгвнинг. Тогда я только познакомилась с Р. Р. сказал, что вся моя философия заключена в слове *послезавтра*, что когда я жила в Союзе, у меня не было чувства будущего, а здесь мое чувство будущего выражается в формуле  $p + f$ , но я в этом не смыслю. Я переспросила Р., что *сня* математика значит, а он сказал — *послезавтра*.

К. говорил, что первая книга у всех писателей выходит правдивой, а потом они начинают врать, когда вырабатывают неповторимый стиль, и потому сейчас входят в моду дневники — люди истосковались по подлинности. Но я не собираюсь из себя ничего вымучивать. Это — не для печати, здесь за книги много не платят.

Р. сказал, что каждый писатель — это два человека, живущий и сам над собой надзирающий. Р. не позавидуешь — неужели даже в постели он не может отключиться и все фиксирует. Р. сказал — как когда, зависит от партнерши. По-моему, со мной он не фиксируется, впрочем, кто его знает.

Выходит, все, что я пишу, так или иначе

связано с Р. Мне же, когда я решилась на технические записи, хотелось прежде всего избавиться от Р. Он упырь, присосался ко мне, чтобы вывести героиней своего романа про эмиграцию. Прекрасно себе воображаю, как я там у него буду выглядеть. Капризная эмигрантка со скандальчиками, упрямая и безвольная, но, между прочим, именно из-за него я снова стала курить ваньку с манькой. Упырь и кровосос, когда его нет рядом, я ощущаю его взгляд, он отовсюду следит за мной, под его неусыпным бдящим оком треглаза я переливаюсь разными цветами, как морской скат, и он фиксирует мельчайшие переливы. Нужно было так резко менять свою жизнь, чтобы попасть в зависимость, поди знай, какая зависимость тягостней — от системы или от одного человека. И еще этот чертов кот!

12.2.5. Что за цифры начирикала? Накурилась до галлюцинации. Я — собор, поверженный наземь. Кафедральный собор с Манхэттена, моя голова — шпиль, руки — колонны, чрево — вход, ноги — опоры. Я услышала свой голос: «Кажется, я умерла». Другой голос, наверняка Р., отозвался: «Послезавтра». Как Р. оказался со мной в ателье у Д.? Он меня выследил. Потом все стало тяжелеть и расплываться, не все, а белый собор, поверженный наземь. Может, я совершила ошибку, вернувшись в Нью-Йорк? В кибуце было хоть и скучно, но зато тепло. Нет, после России невыносимы никакие коммуны. Я спросила Р., бывают ли такие люди, у которых нигде нет своего места, нет вообще чувства дома, и он ответил, бывают, раз существую я, именно такой человек. Раз существует такой человек, значит, существует и такое явление, поскольку в каждой частности заключено общее. Меня тошнит от мужской философии.

6.11.5. Ставлю цифры от фонаря, чтобы все запутать окончательно, связать в клубок и вышвырнуть его с четырнадцатого этажа. В Израиле я перекрасилась. Австралийка из нашей комнаты сказала, что зря — седина делала меня пикантной. Приехала одна моя старая знакомая, советская. Её приезд меня добил.

7.11.6. Сорвалась. Наверное, из-за фильма про евреев.

9. 11.1. Лень писать. К тому же я дала себе слово не читать чужих дневников. Не удержалась. Прочла дневник шестнадцатилетней проститутки Перлы из Терезина, по-английски. Когда прочла, обнаружила, что это книга писателя Люстига, все это он сочинил. Ник здесь в безопасности. Он не сможет упрекнуть меня хотя бы в этом, но в остальном . . . Ник сейчас в том возрасте, в каком были мальчишки, когда их вывезли из Терезина в Освенцим. И Перла в ночь перед депортацией пробралась к ним в барак, чтобы они запомнили женщину, её вкус и её тело. Р. считает, что женщины наслаждаются своей властью над мужчинами, при этом разыгрывают из себя жертв.

10.10.1. Я пожаловалась Р., — устаю. Трудно после целого дня эфира писать. Р. усмехнулся. Только такие невежды, как я, могут думать, что если их научили в школе кое-как излагать чужие мысли, значит, они уже мастера слова. Долго вещал о том, какой это труд — грамм золота из тонны руды. Еще тот золотоискатель. Чтобы с ним спать, да так, чтобы он отключился и прекратил фиксироваться, — тоже надо быть в форме. Сбиралась стелиться, но вспомнила один эпизод. Последний день в Минске. Все собрано, нет сил двинуться. Звонит телефон. Какой-то незнакомый голос спрашивает, не выручу ли я его, нужно написать

траурную надпись на ленте, а контора на кладбище закрыта. Спрашиваю как профессионал, какую надпись, на каком языке, какого цвета лента. Голос объясняет. Но я никогда никаких траурных надписей не писала. Почему вы обращаетесь ко мне? А нам, говорит, посоветовали, сказали, что Фаня все умеет.

В принципе, я не собиралась упоминать свое имя. Я не существую. Но раз есть имя — значит, и я есть? Как сказал Р. — в каждой частности заключено общее.

К чему эта история? Просто я представила, как это выглядело бы здесь. Если бы кто-то к кому-то обратился среди ночи с подобной просьбой. Ответ один — человек не желает раскошелиться на траурную надпись. Поскольку не бывает такого, чтобы контора на кладбище была закрыта. Здесь все работает и все по назначению. Там мы друг друга учили, лечили, утешали, кормили, спать укладывали, — здесь это не проханже. На всё свои службы, это очень удобно, не надо морочить голову людям, нет нужды друг с другом советоваться. Но у нас осталась эта привычка. Хорошая она или плохая? — на это может ответить только Р., но я его об этом не спрашивала. Пошел он куда подальше.

10.5.2. Так и не спала. Вышла ночью за травкой. Повстречала в баре ирландца. Молчаливый и добрый с виду. Он проводил меня до дому. Ник проснулся, поворчал, что ему надоели мои ночные эндвенчесы. Ирландец понял только последнее слово. Успокоил Ника, что он, ирландец, еще никому не причинил зла, кроме самого себя.

1.1.1. Возила советскую на Брайтон-бич. Сфотографировались у океана. Хотела сделать наш двойной портрет, но, как назло, некому было щелкнуть. Она в отпаде. Готова рыдать над этой законсервированной бабелевской Одессой. Купила полпаунда селедки и маленькую икру. Интересно смотреть на все ее глазами. Сыграли шутку в меховом ателье. Снялись в дорогах шубах. Я — в голубой норке до полу, она — в ондатровом полушубке. Сказали продавщице, что предьявим мужьям фотографии, чтобы они сами решили, какая из шуб лучше. Выберут и купят. Взмокли, как мыши, пока все перемеряли. Зашли к матери. Это чудовище живет, чтобы меня терзать. Она купила себе очередное манто. Померили на советскую — тютелька в тютельку. Но мать вцепилась зубами — не перепродает. Она с беднотой не торгует. Все забыла. Как сэкономила каждую копейку, которую там не на что было тратить. Разве что на ковры. Но у нее всегда была куриная память. Р. определил мою мать как типичную представительницу черты оседлости, попавшую в рай беспересадочным путем. Когда Р. заводится, он говорит, что я такая же бядь, как мамаша, потом похлеще, а потом хоть святых выноси. В такие минуты он напоминает мне Натана из «Софис чойз». Не хотела бы я кончать свою жизнь с Р., хватив напоследок цианистого калия. Конечно, Освенцим это не совдеп, но и у наших отбирали детей, и наши, возвращаясь после многолетней отсидки, их не находили. Мы с советской долго трепались на эту тему при Р. Р. утверждал, что евреям нечего делать в России, что Америке евреи на пользу, России во вред. Что обострение национальных проблем в нынешней России кончится очередным еврейским погромом. Когда он узнал, что у советской троие детей, схватился за голову. Сказал ей, что у нее потеря волевого импульса. Потеря волевого импульса, по мнению Р., — болезнь интеллигенции в тоталитарных странах. Для евреев такая болезнь может оказаться смертельной. Р. говорил безапелляционно, и советская

приуныла. Я сказала Р. в ее защиту, что все не могут уехать, кто-то должен учить, лечить, неужели одни идиоты. Р. ответил, что там, где народ 70 лет занимается самоуничтожением, никакие врачи и учителя не помогут. Тем более евреи. Перестройка напоминает ему труп, который вздрагивает от конвульсий. Я не знаю, зачем он так напустился на советскую, если сам недавно говорил мне, что будь он сейчас в России, неизвестно, уехал бы или нет.

Я дала советской почитать рассказы Р. Она так и уснула с книгой, раскрытой на первой странице. Жаль ее. Купила для нее киви, она и не прикоснулась, бананы тоже не ест: как-то им из Чехословакии привезли банановый шампунь, и ее дочь плакала — зачем бананы перевозят на шампунь, лучше бы так дали. У ее детей авитаминоз, короста на голове. Трудно все это себе представить, бедность так же быстро забывается, как боль при родах. Р. считает, что она никогда не очнется, система уже разможила ей хребет. Я спросила Р., а что с нашими хребтами, все порядке? Р. ответил, что он ответствен только за себя. Но если бы у него были дети, он бы, вне всяких сомнений, уехал. Интересно, почему у него не было детей. Жаль, что я не объяснила советской раньше, что это за человек. Вернее, что за нечеловек. В книгах ему жаль и муравья, а в жизни он беспощаден. Ко всем без исключения. Он сделал ставку на свой талант, а здесь к таланту нужен еще и успех. В России успешный писатель вызывает справедливые подозрения. Здесь — признание. Р. вывез свой талант, как невесту на смотрины, но она оказалась то ли заумной для жениха, то ли он заломил слишком высокую цену. И провалился. Или всему виной его несносный характер?

2.2.2. Звонила Р. в Бостон, спросила, не видел ли он там советскую. Он сказал, достаточно того, что он видел ее здесь. Сказал, что они знают, кого к нам сюда засылать. Я его покрыла, он обозвал меня лесбиянкой и круглой кретинкой. После приятной беседы с Р. пошла за зельем. Встретила ирландца. Вернулись домой вместе. Ирландец ведет себя странно. Может, он голубой?

2.2.3. Уложила ирландца в гостиной, забрала с собой Кузю. Кот обезумел, рвался к ирландцу. Заперла кота в ванной. Поднял крик. Вспомнила одну историю, хотела рассказать ее ирландцу, но он бы ничего не понял, она такая тоскливая, как привокзальная площадь Минска на рассвете. Кот просто рехнулся. В конце концов я вышвырнула его к ирландцу. Хорошо, что у Ника крепкий сон. Иначе с моими ночными бдениями он бы вырос неврастеником. Ирландец или не спал, хотя свет был погашен, или его разбудил Кузьма, но я услышала, как он увещавает кота по-английски. Эти твари не понимают, в какой стране им повезло родиться, со специальной жратвой и таблетками, убивающими потенцию. Котов здесь не кастрируют, а кошкам не делают полостных операций, чтоб не беременели. Советская рассказывала, как у них погибал щенок, как он мучился, и ничего нельзя было сделать. Вот от этого надо бежать. Бежать оттуда только из-за одного этого. Неужели Р. прав насчет атрофии воли и зря я его пилила? Но дальше с ирландцем была смехотура. Он явился ко мне в трусах, держа Кузьму за шкирку. Он не голубой. К тому же у него еще нашлась травка.

3.103.1. К. приходил к Нику. Решал с ним задачи. Ник называет его отцом. У К. все в порядке. Меня он уже не любит. У него большая клиентура. Говорил, что в последнее время стал засыпать вместе с пациентами. Меня его гипноз никогда не брал. Но наши все его хвалят:

помогает очень, особенно в период адаптации. У меня этот период или прошел или не начинался.

Ирландца привлекаю, видимо, не я, а вид с балкона. Придет — и сразу на балкон. За чаем смотрит на меня с собачьей преданностью — у него узкое лицо и близко поставленные глаза. Человек в профиль.

3.101.2. В дневнике Перлы из Терезина есть такое место, где она перебирает последние слова уходящих на транспорт. Подруга спросила Перлу, как она выглядит, мать велела сыну следить за тем, чтобы там у него не промокали ноги. Почему меня тянет читать все эти кошмары про детей и газовые камеры? Неужели, чтобы удостовериться — существование имеет смысл? Я что-то плела об этом ирландцу, но он заснул. Я вышла на балкон в ночной рубаше, захотелось понять ирландца, что же он там высматривает? Вершины небоскребов в рассветных облаках? Фантазмагорическая декорация, сквозь нее проступает минская привокзальная площадь, монументальные сталинские коробки, серо-коричневые, ненавистные. Как в театре — два задника, тот, что ближе, небоскребы Нью-Джерси, тот, что дальше, — минская привокзальная площадь. Я будто бы смотрю на это, одновременно находясь внутри, между двумя задниками. Нет, ирландец видит что-то свое. Может, сквозь небоскребы проступает его Дублин? Мой друг, шестидесятилетний герой Семидневной войны, презирал меня, бегущую из Израиля. Как объяснить ему, что я никем себя не числю: ни еврейкой, ни русской, ни советской, ни даже Фаней Л.?

5.10.5. По телевизору идет фильм по Воку. Сегодня кадры расстрела в Бабьем Яру перебили рекламой пылесосов. Американцы не могут долго этого выдерживать. Им нужно знать, вот это было тогда, а сейчас — бесшумные пылесосы. Американцы не зацикливаются. После пылесосов продолжается расстрел. Очень натуралистично. Затем демонстрируют прибор для проверки содержания калорий в сыре. Наши считают это признаком душевной тупости. А по-моему — здоровья.

Недавно мы с советской были в Метрополитен. Там есть такая американская картинка — рыжая лиса бежит по белому снегу, над ней два коршуна. Вот-вот выключат ей печень. Зато на заднем плане — роскошный водопад, деревья, вода блестит. «Здоровые люди, — заключила советская, — не переносят трагизма, драму еще как-то могут допустить, но с хэппи-эндом». «И чтобы был фан», — добавила я. Я сказала советской, что не только американцам нужен счастливый конец. Просто в России быть счастливым неприлично. Помню, как я рыдала тайком, какой переживала катарсис, когда доярка, после каскада неудач, в финале повышает надой и выходит замуж за председателя колхоза. Над чем я плакала? Я же видела, что все это липа. Над тем, что человек бился и добился. Что вообще возможно чего-то добиться.

Отобрала для советской обувь и одежду. Все новое, с бирками. Р. покупает дом в пригороде Бостона. Он сказал, что там я могу осуществить свои мечты по маковым плантациям. Р. хочет меня добыть. Ночью кричал на меня, чтобы я ответила ему всего на один вопрос: прав Чаадаев или не прав, что история России бессмысленна? Я призналась, что не читала Чаадаева, он меня ущипнул. Не сильно, но злобно. Все русские сумасшедшие, особенно евреи. Зачем Натан мучил Софи, хватило с нее Освенцима. Натан похож на русского еврея, истерик, в хорошем расположении духа — само очарование, в дрянном — садист. С кого его списал Стайрон, наверное с Р. Кузьма защитил меня, оцарапал Р. щеку. Р. его вышвырнул к Нику. Ник, совершенно сонный,

явился к нам с Кузьмой. Это напомнило мне ночь с ирландцем. Я расхохоталась. Р. стал допытываться, чего я смеюсь. Я не могла остановиться. Тогда Р. зажег настольную лампу, напялил очки и вперился в меня. Так художник примеривается к натуре, ищет ракурс, а Р. — место в романе, куда поместит меня, голую и хохочущую. Чего он не узнаёт — причины моего смеха. Что-нибудь придумает. Но лучше не придумаешь. Сюжет: кот — главное лицо, ирландец, я и Р. — второстепенные актеры трехстепенного фарса.

2.5.100. Новое веяние — ресторан «Гласность». На потолке русскими буквами написано: «Съел — и уходи». Наша беспардонность. Но американцы не поймут, а для русских это родное, привычное. Для них это фан. Продают майки за 20 долларов с портретом Ленина и за 15 — с надписью «Перестройка». Ленин на пять долларов дороже перестройки. Выпила кофе, дешевый, за 50 центов, попробовала клюквенного варенья. За полчаса никто не пришел. Только один сумасшедший, на вид типичный русский псих, но говорящий по-английски. Маскируется. Спросила хозяина, как идут дела. Он сказал: «Только открыли, пока не густо». Ассортимент приличный. Рядом — ресторан «Руслан», дорогой. «Гласность» перешибет у «Руслана» клиентов. Помню, в Цюрихе чех-эмигрант пытался объяснить мне разницу между европейской ментальностью, с одной стороны, и американско-советской — с другой. Американцы и Советы, по его мнению, хотя и научить Европу уму-разуму. Европа для них — это такая чокнутая старушка, которая что-то бормочет про себя, но Америка и Советы не желают напрягать слух. А европейская культура на самом деле это что-то внутреннее, сокровенное, к чему надо подходить не спеша и с почтением. Мне часто мужчины рассказывают интеллектуальные байки. Наверное, из-за моей обманчивой внешности, на вид я точно не дура. И умею слушать молча. В конце концов чех признался, что это было такое неудачное, спекулятивное оправдание европейской ментальности. «А что, как вы думаете, Европа действительно погибла в 14 году? — спросил он у меня. — И это все-навсегда мертвая зона?» Было больно слушать его, лишившегося родины из-за нас, советских, из-за наших танков, которые вечно лезут куда их не просят. Это я понимаю, но почему Европа погибла в 14 году? Мы пили с ним пиво, он рассказывал, что был редактором какого-то журнала при Дубчеке. Теперь печатается в эмигрантской прессе. Все — в прошлом, настоящего нет. Наверное, им тяжелей в эмиграции, чем русским. Прага так близка и так недоступна. Почему-то такие встречи, не имеющие никакого развития, случайные, долго помнятся. Совпадение настроений, глобальный шмерц, и вот два человека сойдутся, говорят на черт знает каких языках и понимают друг друга. Флюид ностальгии? Ты тщательно прячешь его, загоняешь во тьму, но он вырывается на свет, находит зажженную яркую лампочку под оранжевым абажуром, и другой человек смотрит на другого обезумевшего мотылька, и видит тебя, и вы встречаетесь на короткий миг. Пока мотылек не улетает на поиски нового источника света. Нет, ностальгия — это не мотылек. Просто тоска. И вовсе не по родине. По неосуществившемуся.

6.200. Ирландца в кафе не было. Прошлась по центру. Снова вернулась в кафе. Нет. Вернулся на родину?

18.18.18. Мое любимое число. Звонила советская из аэропорта в Джерси. Летит в Итаку, в Корнел, где преподавал Набоков. Я млею. От одного ее голоса. Неужели Р. прав, я влюблена. Когда она повесила

трубку, я подумала: с чем бы мне было жаль расставаться? Наверное, с чувством влюбленности. Вернее, с предощущением возможности любви. Но это, конечно, не относится к советской.

6.2.100. Набираю статью Р. о русской интеллигенции. Сколько уже написано об этом! У Р. пункт: интеллигенция всегда мешала государству. Ее истребляли и не истребили. Неряшливые, с землистыми лицами и мешками под глазами от ночных бдений, из века в век проворачивающие одни и те же идеи, интеллигенты не перевелись в этой богом забытой стране. Русская интеллигенция бескорытна. В любые времена, в маленьких прокуренных кухнях, она кучкуе#ся группами, по пять-десять человек.

У Р. явная ностальгия по прокуренным кухням. При первом чтении я предложила придумать что-то вместо кухонь, ну все об этом пишут, даже советолог Кевин Клосс. Р. не согласился — ему наплевать, кто что пишет. Все дети рисуют солнце и не боятся повторов.

Р. расспрашивал советскую, собираются ли теперь, в перестройку, интеллигенты на кухнях, о чем они говорят, верят ли в гласность.

Советская ему на это ответила, что у них пропала зубная паста и все моющие и чистящие средства. Так что все интеллигенты теперь собираются на грязных кухнях, едят из грязной посуды, и зубы у них желтые не от никотина, а от отсутствия зубной пасты. На это Р. ответил, если ты добровольно выбрал свинское состояние — хрюкай, советская сказала, что его предложение неконструктивно. Р. ответил, что конструктивные предложения в совдепии никогда не находили отклика. Они там не работают. Зачем он так напустился на нее, если совсем недавно говорил мне, что если б он сейчас жил в России, неизвестно, уехал бы он оттуда или нет.

8.5.1. День рождения Ника. Полночи поливала индейку водой. Грейт! Пришли ребята из школы, с девушками. Мы такими мечтали быть, но не были. Мы переплачивали за импортные шмотки, чтобы выглядеть как иностранки, но выглядели жалкими подобиями. Внешне свободные, внутренне зажатые. Меня приводят в восторг их походка враскачку, их маленькие грудки под свободными свитерами, природная грация — такими нельзя стать. Т. прислал поздравительную телеграмму. По-русски, латинскими буквами. Пишет, что придет посмотреть на взрослого сына. Ник похож на Т. Но он его не помнит. И своим отцом считает К. Иногда мне хочется, чтобы меня втоптали сапогами в грязную лужу.

6.6.6. Ирландец или шутит или молчит. Курит он для кайфа. Я — чтобы забыться. Но это же своеобразный кайф. Когда все расплывается и исчезает. Советская сказала, что я сильная, что найду выход. Но она судит по себе. Она т а м выживет, а я — здесь — сгину.

После работы прошлась по Централ-Парку. Американцы планируют жить 200 лет. Не курят, бегают и гоняют на велосипеде. Иногда они раздражают. Как раздражают трезвые пьяных.

7.6.5. Ирландец сказал, что мое существование — открытие. Он открывает себя через меня, как яблоко через граненый стакан. Не художник ли он часом? Я спросила, видел ли он картины Петрова-Водкина. Фамилия его рассмешила. Узнал слова «водка» и «Петр». Не слышал имен Ахматовой, Мандельштама, только Пушкина и Евушенко. Сказал, что у русских слишком много писателей. Зато у ирландцев — один Джойс, и что самая лучшая шутка Джойса — «Поминки по Финнигану».

Написана на разных языках, перевести ее невозможно. Литература для себя, для кайфа — это честно. Сегодня он был на редкость разговорчив.

Р. такое суждение не убедило. Он сказал, что Элиот, Джойс и все, как он выразился, герметисты нарциссы по сути, а главная функция литературы — проповедничество. Обрушился на буржуазную культуру. Иногда Р. рассуждает совершенно как партийный босс. Хотя ненавидит партийцев. Наверное, лучше быть просто другим. Ирландец ничего из себя не строит.

8.7.6. Купила советской юбку точно под цвет ее глаз, с воланами на бедрах и узкую от колен. Может, она прекратит таскать джинсы? Какой бы она стала конфеткой, если бы дала себя подстричь, одеть и накрасить. А что если ирландец — писатель и собирает на меня материал, как Р.? На что я им сдаюсь?

8.10.12. Разбудила бама в метро, устроился прямо под телефоном-автоматом. Пока я говорила с Ником, он недовольно бурчал. Предложила ему перебраться отсюда в более спокойное место. Он молча встал, нацепил одеяло на нечесанные патлы, такое огромное животное, Тарзан, — и удалился. А мешок с барахлом не взял. Чего там только нет — тряпки, бутылки, все с помойки. Интересно, вернется он за своим скарбом? Представляю, сколько бы народу валялось у нас в метро и на улицах, если бы их не гоняли менты. Помню, мы с четырехлетним Николкой летели 29 августа из Минвод. Двое суток спали на раскаленном асфальте на картоне из-под тары. Все газоны были заняты. У Ника начался понос, рвота. Я оставляла его одного, металась по кассам, пробивалась к начальнику. Если б это животное потребовало за билет меня, я бы дала не задумываясь. Все бесполезно, ждите, ждите, может будет дополнительный рейс. Спасибо, нашелся какой-то фотокорреспондент из Москвы, он отдал нам свою бронь. О том, как я доберусь из Москвы в Минск, не подумала. Три дня с больным Ником проторчали у людей. Но это все равно не сравнить с Минводами. Воды нет, простой воды, какая там минеральная, еда — пережаренные пончики с повидлом. После этих пончиков Ник еще месяц болел. Нет, как вспомнишь все это . . .

Советская сказала, что в Череповце два месяца не было ни капли молока. О таких вещах, как мясо, они и думать забыли. Бедная советская, с каким восторгом она наблюдает, как я загружаю посуду в мойку, как ей нравится сидеть в прачечной, пить сок и наблюдать за шарабаном. Все без очереди, все спокойно. Иногда кажется, что она нагнетает, рассказывая о миллионе детей в домах ребенка, о том, как видела в доме ребенка, в центре Москвы, шестимесячного оперевшего малыша, с кровавыми язвами в паху, он кричал от боли, а нянька сказала советской, что она за 70 рублей в месяц не будет говно убирать. Еще рассказывала об исходе дебилов, как недавно решили, кто решил — неизвестно, дебилов с родителями отделить от дебилов-сирот, и как она была в доме на Кирпичной, куда свозили дебилов-сирот, и как они мычали и отказывались от еды и питья. Но если ничего нельзя сделать, как же можно на это смотреть, зачем она туда ходит? Ответ сразил наповал: «Для сбора материала для диссертации на тему: „Проблема выживания в условиях ограниченных ресурсов“. Чехов поехал на Сахалин не лечить, а переписывать население. Один человек не может одновременно решать две задачи. Разумеется, когда видишь

т а к и х детей, первый импульс что-то сделать для них, но потом видишь еще и еще т а к и х детей и понимаешь, браться за кого-то конкретно, все равно что забивать микроскопом гвозди. Так что моя задача на этом этапе — поставить проблему».

Пока советская это говорила, я вспоминала ее в Минске. Обычно она помалкивала. Тихая беременная жена при буйном муже, усатом-бородатом-волосатом еврее, создателе огромного эпоса в стихах о путешествии Ионы в чреве кита. Он читал его главами в доме у К. Все изнемогали от тоски.

Советская сказала, что теперь есть шанс издать роман. Удивительно, сколько лет прошло, а роман не утратил своей актуальности! Будто Библия ее утратила! Они давно живут в Москве, муж ее с недавнего времени легально преподаёт иврит, а она работает в каком-то социологическом институте, занимается малыми вымирающими народностями — чукчами, гагаузами, я не слышала о таких. «А евреи по какой статье проходят?» — спросила я ее. «По семидесятой», — сказала она весело.

10.10.10. Маниакальный психоз. Пробовала разыскивать ее через знакомых в Вашингтоне. Там она так и не объявлялась. Купила ей купальник. Не знаю как понравится. Но она же нормальная баба, не ханжа. Ирландец нацепил купальник себе на голову, сказал: «Секшл лав». У них одно на уме.

Советская, что ни говори, ведет себя корректно. Все уговаривают ее уезжать, объясняют ей преимущества свободы, будто она и без нас не видит! Родить троих детей в таком кошмаре, заниматься кошмаром в кошмаре — какая нужна воля! Р. говорит, что это не воля, а целеустремленность, целеустремленность — признак ограниченности. Тогда он тоже ограниченный. Зато я — свободная. Мне с детства нравились романы, они мне заменяли все. Из школы помню — гомозиготы, гетерозиготы, кое-какие выдержки из кое-чего и мнения того-то о том-то. Из библиотечного института только уборную, где полки из Западной Украины торговали косметикой и лифчиками, и сексуального маньяка по капээсне, который на зачете лапал всех подряд. Слушает, а сам под столом под юбками шарит. Такие вещи запоминаются! Эх, звенеть бы в каком-нибудь ресторане «Черное море» или «Очи карие». Русские романсы исполняет жидовочка Фаня Л.!

1.1.0. Дозвонилась до М. Советская у них. Пьют, гуляют, вспоминают. Никто не изменился. Это они шутят. Не стала звать ее к телефону, чтобы не навязываться. Вечером набирала книгу Марченко. Поразительный язык. Таких описаний Сибири не сыщешь у Распутина. А как рыбу ловили! Никогда там эту книгу не напечатают. Рабочий, который дотумкал все про систему. Такие рабочие им не нужны. Я похвалила Р. «Живи как все», и зря. Он сразу: «Конечно, это факт литературы, но нет синтеза. Это воплощение без перевоплощения». Я рассердилась: «Но это же правда, кожей ощущаешь атмосферу преследования, видишь человека в кафкианском пространстве, как он рвет рукопись, выпрыгивает из окна, как его берут в метро, — наш вермонтский мыслитель тоже скептически отозвался о первой книге Марченко. Это у вас ревность». Ирландец сказал, что философы и шахматисты приведут мир к катастрофе. Я спросила, почему шахматисты. Он не ответил. Может, он шахматист? Интересно, что все размышляют о том, что приведет мир к катастрофе, в то время когда она уже произошла. Присутствия ирландца в доме не замечаешь. Впрочем, как и его отсутствия.

12.12.1 Может быть, эта странная нумерация содержит какой-то скрытый смысл? Надо обратиться к кабалисту. Если уж в броуновском движении есть структура, то в моей нумерации она есть и давно. А что если бы мне открылся ее смысл? Вспомнила: иду в школу, первого сентября в десятый класс. Обычный путь — мимо бетонной ограды детского сада. И вдруг понимаю — точно такая же бетонная стена отделяет меня от чего-то, что я не могу постичь. Но от чего? Неизвестно, потому что это что-то за бетонной стеной. Ощущение сходное с тем, когда ты хочешь вдохнуть полной грудью и не можешь. Воздух доходит до гортани — и обратно. Нет, и это не похоже. Не знаю, как выразить. Бетонная стена — и все. И ты не понимаешь, ты действуешь как в ослеплении, словно тебе в глаза направил прожектор, тебя все видят, ты — никого. И ничего. Вещи не существуют отдельно от тебя, но ты же понимаешь, что они существуют. И в каждой свой смысл. Я никому этого не могу объяснить.

12.1.12. Почему я пишу «советская»? У нее есть имя, обычное, типа Лена-Таня-Оля-Галя. Может, я все-таки в глубине души рассчитываю опубликовать дневник? Тогда советскую опознают. Дать ей вымышленное имя? Но я поклялась не называть никого, кроме себя и Ника. Всех обозначить вымышленными инициалами. Назвать ее Э.? Пусть будет Э. Во всяком случае на эту букву нет ни одного ругательства. Присутствие Э. успокаивает. Все хорошее хочется прибрать к рукам. Так и с Э. Но она прилетит в Нью-Йорк на несколько дней, и у нее тысяча планов. Она боится чего-то не успеть, наверное установка на «сегодня» — так как неизвестно, будет ли завтра, — делает человека активным. Моя же философия — послезавтра, которую мне припаял Р., — располагает к оправданию внутренней неподвижности. Все переносится на послезавтра. Советская назначает на один день пять апойнтментов. Носится на такси, хотя я ей объясняла, что все нормальные люди в Нью-Йорке назначают на один день максимум два апойнтмента. Когда я говорю ей это, она сердится: у американцев есть хоть какая-то уверенность в будущем, поэтому они планируют жизнь на несколько лет вперед, у нее этого нет, она должна выложиться по максимуму.

Увидела у меня на столе дневник Перлы, вцепилась в него сразу. Рассказы Р. читать не стала. Меня это огорчило. Говорит, в дневнике Перлы узнала некоторых персонажей, например, под художником — Фритту. Смотрели с ней сериал по Воку, узнала Терезин. Нашла, что Вок ошибся в некоторых деталях. Например, у главной героини отнимают в Терезине пятилетнего ребенка, такого не было. Пятилетние дети там жили при матерях, а когда матери работали, за детьми следили воспитательницы. Откуда она знает? Изучала систему здравоохранения в лагерях, но и попутно кое-что прочла. Зачем? Для того же исследования про ограниченные ресурсы. Я сказала Э., что сошла бы с ума от таких исследований. Она согласилась: с одной стороны, это тяжело, с другой — обнадеживает. Ей важно проследить момент, когда у человека, дошедшего до полного нуля, открывається второе дыхание. Шмерц! Я сказала ей, что ее исследования — это попытка доказать самой себе, что там можно жить. На втором дыхании. На это она ответила — ей больше нравится общаться с американцами, они не лезут в душу. Нет, я только под травкой ощущаю прилив сил и абсолютную уверенность в том, что живу накануне грандиозного открытия, еще пару затяжек, рухнет бетонная стена и тогда... Что тогда?

9.8.1. Видела во сне Ф. Как я приезжаю к нему в Цюрих, в какую-то

гостиницу в мелких цветочках. И застаю его с Евой, нацисткой, белокурой гадиной, которая говорила, что еврейскому вопросу придадут слишком большое значение, что сколько их ни истребляй, они все равно вылезают и прибирают денежки к рукам. Я ее избил. В пивной. Меня посадили, нет, это не сон, меня привезли в участок, и я должна была или заплатить кучу денег за оскорбление ее гнусной личности, — нос я ей расквасила неплохо, — или отсидеть за хулиганство. Ф. нанял адвоката, проклиная меня последними словами. Нет, это не сон. Во сне он будто бы спит с этой курвой, я кричу на него, он выходит в коридор и собирает там цветы с обоев. Дарит мне это пестрое обойное крошево. Оно просыпается сквозь мои пальцы на ковер, гостиничный пол — луг с мелкими полевыми цветочками. Что будет Ф. за разодранные стены? Потом мы возвращаемся в номер, никакой Евы там нет. Он как будто бы Натан, я как будто бы Софи. Он спрашивает меня, как я выжила. Я объясняю, что мне ничего не оставалось, как вернуться в совдеп. В Цюрихской тюрьме можно было бы неплохо пожить, но адвокат быстро закрыл дело, получил свои денежки, чего Ф. мне не смог простить. Кажется, он так и остался с этой, нет слов, кем. Во всяком случае, в Штаты не вернулся. Как я была в него влюблена! Если б не эта скотина, никогда бы не узнать, какой подонок Ф. Интересно, она знает, что он еврей! Все вру. После того как я вернулась из тюрьмы, я еще три месяца жила с Ф. Унижалась, приставала к нему, липла, как репей. Причина? Красивая жизнь в Европе без Ника, без матери? Наслаждение от того, что тебя топчут и растаптывают? Наконец-то тебя растаптывают! Вдруг за бетонной стеной живет миролюбивое чудовище — о п р а в д а н и е, которого я так жажду?

0.0.1. Пока я здесь занимаюсь плетением кружев, Р. пишет мой монументальный портрет. Затем и бросил меня, — большое видится на расстоянии. Между прочим, я сейчас заметила, что по отношению к Р. — сплошь скепсис. Работа на вытеснение, объяснил мне К. У Р. прилив любви к прототипу. Сказал, что одно мое желание — и весь роман полетит в тартарары. Я спросила: мое или прототипа? Хотя неизвестно, где я, а где мой прототип.

Э. рассказывала, что ее близкая подруга, талантливая писательница, сочинила повесть про режиссершу. Ту, что поставила в театре другую повесть писательницы, из книги. Я спросила ее фамилию, но Э. сказала, что она мало кому известна. Дело в данном случае в самом сюжете. Режиссерша разыскала писательницу, чтобы пригласить ее на премьеру спектакля. После премьеры писательница написала повесть о режиссерше. Потом, когда они сдружились, она ей дала прочесть эту вещь. В новости писательница свела режиссершу со старым генетиком, отбывшим лагеря, умным, добрым и совершенно одиноким. У режиссерши не было квартиры, она поселилась у генетика, к его большому удовольствию. Параллельно у нее начался роман с молодым врачом, который собирался уезжать. В то же время ее театр закрыли по идеологическим причинам, жить ей стало не на что и нечем, врач предложил ей уехать с ним. Но как оставить генетика? Он уже совсем стар, не может за собой ухаживать. К тому же с ее стороны это не просто благотворительность. Это духовная близость двух людей разных поколений, одиноких и ненужных никому. Она решает остаться. На режиссершу роман произвел оглушительное впечатление. Она сказала писательнице, что в нем вся правда о ней и нашей жизни, что писательница проникла в такие закоулки души режиссерши, о которых она и знать не знала. Но финал ее огорчил. Она решила не поддаваться на литера-

турную провокацию и уехать. Хотела в Америку, попала в Израиль. Звонит теперь писательнице из Иерусалима и плачет. Если бы и вправду на свете существовал этот генетик, она бы с ним осталась. Но генетик-то существует! Просто писательница свела в повести двух известных ей людей, не знакомых друг с другом.

Как же тогда быть с романом Р.? Неизвестно, какой финал он мне предуготовит. И как поступать — в соответствии с ним или вопреки ему? Интересно, что я делаю на его страницах? Шляюсь по ночному городу в поисках травки и ирландца? Или он с бунинской страстью описывает мой атласный халат и блеск глаз? По-моему, ему должно мешать все то, что он обо мне знает. Разумеется, он не преминет описать сигарету, описывающую круги между большим и указательным пальцем, яркая деталь. Нервический смехок? Нет, банально. Может, он поместит меня в тот корабль, что плыл из Германии в Сент-Луис с евреями на борту и вернулся домой ни с чем, — евреев не взяли. Не схотели их здесь тогда. И скоро снова не схочут. Перестройка. Чтобы переделать меня в немецкую еврейку, Р. придется сильно попытеть.

2.0.0. Мать вознамерилась съездить в Россию. Что вдруг? Хочет посетить родные могилы. А тетю Эту? Свою любимую сестру, которой она не выслала отсюда ни одной посылки? Решив отъехать к родным могилам, она стала сентиментальной. Рассказывала Нику, как мы хорошо там жили, в тесноте да не в обиде, все вместе, а теперь ее все забыли. Уж ей-то жаловаться! Отдельная квартира, окна на океан. Послушать ее — так непонятно, зачем было уезжать. Соседи добрые, город чистый, продуктов хватало. Все это она говорит, чтобы досадить мне, ждет, когда я взорвусь. Но я беру пример с Ника. Он слушает ее, поедая жаркое, обгладывая тщательно куриные кости — как он напоминает своего отца! Невозмутимостью, умением пропускать мимо ушей все, что его не интересует. Говорят, у Т. набожная жена с вечной мигренью. Может, все к лучшему. Пришлось заводить драндулет и везти мать на Брайтон. Остаться у нас — ни за что. Зачем ей эта теснота и сигаретный дым! На обратном пути завернула в Сохо. Долго крутилась, негде было запарковаться. В праздники ужасный трафик. В ателье у Д. полно советских. Авангардисты. Сейчас они в моде. Их охотно берут. Д. представил меня как прославленного диктора. Кто-то из советских божился, что слышал мой голос. Теперь не глушат даже самую безобразную радиостанцию, на которую Р. меня сосватал.

Рассказывали: Вейзберг умер, Сидур умер. Ругали совдеп. За что его любить, таких художников загнал в могилу. Я-то не знаю ни Вейзберга, ни Сидура, ни Элиота, ни Джойса, ни герметистов, ни концептуалистов. Авангардисты — концептуалисты или нет? Я — плебейка. Но иногда, спяну, наберусь смелости и спрошу: а кто такой Сидур? К примеру. Но только спяну и только когда в себе уверена.

Д. разглагольствовал про языы совдепа. Любит пошуметь, но он настоящий работяга. Д. говорит: американцы щедро раздают лавры, не боясь перехвалить, а наши — об очевидном гении не скажут доброго слова. Потому что мы — дети совдепа — говорим только от лица миллионов, несем партийную ответственность за свои слова; мы представляем собой или весь континент или, при невероятной скромности, всю страну. Советские кивали. Они похожи на мужиков, которые согласно петровскому указу явились бриться. Д. — Петр I, высоченный и бритый под ноль, произносит перед ними речь о пользе безбородости, — и они согласно кивают.

Когда я уходила, Д. извинился, что не уделил мне должного внимания. Я спросила, какое это такое, должное внимание. Он захихикал. Мужчины такой народ, пусть они сто лет тому назад случайно переспали с какой-то бабой, они уже считают ее своей, мол, только снова захочу . . . Наплевать. Все-таки это единственное место в Нью-Йорке, куда можно завинтиться без звонка и в любой кондиции. Д. меня не раз выручал, так что я на него не в обиде. Могу и впредь припираться сюда, когда вздумается.

2.1.85. После Марченко трудно набирать А. Все правильно, но скучно. Бросила. По пути к матери зарулила в кафе. Ирландец на месте. Наверное, у него никого нет. Или ему здесь нравится? Помню, когда мы прилетели в Вену, меня поразила одна старушка. Она пришла в ночное кафе со своим бисквитом. Ела его аккуратно, ложечкой, ни с кем не разговаривала. Поела и ушла. Я спросила у приятеля К., поляка-эмигранта, зачем она пришла сюда, ночью. Он не понял вопроса. Захотела и пришла. Но зачем? Захотела и пришла, повторил он. Теперь мне это вроде бы понятно. Пока я относилась матери деньги, ирландец спал в машине. Он был не совсем трезв. И чем-то опечален. Или мне показалось? Часто свое состояние переносишь на другого, но скорее всего он действительно был огорчен.

Прошлись с ним вдоль океана. Обычно здесь ветрено, но этот вечер был тишайшим. Сонный океан. В России уже снега; а здесь все цветное. Проекторы высвечивают яркие пятна — желтый клен, серебряный клен, красный куст, не знаю, что это, — и темно-синее небо с океаном. Ирландец молчал, а я вспоминала, как прошлой осенью летела в Вашингтон через Филадельфию на малюсеньком самолете. Земля была близко, извилистая, с прожилками лесов, с волнистыми краями полей, ничего квадратно-гнездового, — и вдруг дух захватило от благодарности этой земле, ее свободному существованию. Ирландцу такого не расскажешь. Он не любит патетики. Впрочем, кто знает, какой он и что он любит? Я спросила его про Ирландию. Оказывается, он там не был. Его родители приехали в Штаты задолго до того, как он появился на свет. А как же Джойс, «Поминки по Финнегану»? Может, он выдумал, что он ирландец?

1.0.18. Звонила Э. из Вашингтона. Сказала, что разыскала Люстига, автора Перлы. В восторге. Точно такой же, как на фотографии, с шарфом, заправленным в ворот белой рубахи. Люстиг водил ее в ресторан, рассказывал про воровство в Терезине, он пацаном ловко крал и его за это все уважали. Сказал, что воровал и в Освенциме. Она еще минут пять пересказывала Люстига, — я не вслушивалась. Думала, понимает ли она, какой подарок мне ее звонок. Я-то решила, что ничего для нее не значу, так, место, где можно спать, хотя без особого комфорта. Э. уверена — мне непременно надо познакомиться с Люстигом. Этот человек способен поддержать мой дух. Может, познакомиться? Неужели она думает, что встреча может что-то изменить? Кажется, меня бы не спас и сам папа римский. Впрочем, для чего спасать? Что уж такого со мной происходит?

20.5.70. Р. в эйфории. Роман движется к развязке. Я спросила, не слишком ли он спешит. Р. сказал, что спешит не он, а текст. Он буквально рвется вон. Наводил справки о нашей минской квартире. Будто я ее ему не описывала! Все повторила: обычный сталинский дом, с большими лестницами, квартиры с высокими потолками. Три семьи, в каждой комнате по одной. Очень типично и малоинтересно. Предложила ему более романтический вариант. Квартиру нашей с Т. приятельницы в

Риге. Примечательная деталь — такая узкая улица, что можно дотянуться рукой до противоположной стены. В доме напротив потрясающий персонаж — Изида. Она лежит на кровати, у открытого окна, голая по пояс, между грудями — пепельница, иногда клиенты приносили ей кофе в постель, чашку она ставила рядом с пепельницей. Монументально, но Р. не воспламенился. Его интересовал интерьер нашей квартиры. Описала: ковры кругом, — страсть матери, — портрет отца на стене в военной форме, три кровати и стол посредине, круглый, под плюшевой скатертью. Ваза с искусственными розами в центре. Это его устроило. Пусть пишет это. А может, теперь я у него буду не только жонглировать сигаретой, но лежать под портретом отца с пепельницей меж грудями? Технические записи идут мне на пользу. Начинаю тихо ненавидеть Р.

1.0.94. Из-за нумерации не понимаю, что когда было. Срочно нужен кабалист. Тот день, когда я описывала Р. нашу квартиру и Изиду, закончился весьма плачевно. Для Р. Он примчался из Бостона, видно, выехал сразу после разговора со мной, видно, учуял что-то неладное, то есть именно то, чем я завершила предыдущую запись. У него ключи от квартиры. Мы же с ирландцем гульнули. Были в тайваньском ресторане. Ели грибной соус и маленькие шашлычки, невероятно вкусные. Выпили, само собой. Так что были навеселе, если такое применимо к ирландцу. Он всегда примерно в одной кондиции. Я, может быть, кокетничала больше обычного, хохотала, как говорит Р., зазывно. Р. встретил нас не очень, скажем, приветливо. Ирландец сел за стол, как обычно, в ожидании чая. Р. завелся с полуоборота, кричал, что я загубила не только его, но и его вещь, я пыталась утешить его: «Напротив, ты углубишь характер»; на мою издевку Р. прорычал как раненый тигр, сказал, что готов убить меня на месте, я спросила, что ему мешает, он сказал, этот твой, так его растак, и чуть не кинулся на ирландца, хотел выхватить у него из рук детектив, который тот уже две недели исправно читает, — но ирландец встал и ушел на кухню, лучше бы он ушел совсем. Но он вернулся со стаканом воды для Р. Тот выплеснул воду ирландцу в лицо, ирландец снял пиджак, встряхнул его и повесил на стул. Р. скинул пиджак на пол. Ирландец поднял пиджак и ушел в комнату, где, как считает Р., имеет право находиться только он. Я стала удерживать Р., хорошо, что Ника не было дома. Но я боялась, что он вот-вот вернется и застанет эту сцену. Ирландец тем временем выставил пиджак утюгом, я это поняла только после, когда увидела расставленную гладильную доску, попрощался со мной и пошел к лифту. Я выбежала вслед за ним. Но он не требовал ни объяснений, ни извинений. «Не люблю Достоевского, слишком похоже на жизнь», — сказал он, входя в лифт.

Когда я вернулась, Р. лежал на нашей постели, уткнувшись в подушку лицом. Я приподняла его за плечи. Он плакал. Он плакал, как маленький мальчик, повторяя: «Я так и знал, я так и знал». Я легла с ним, но он отодвинулся на другой край. Тогда я ушла в гостиную. В голову лезло черт те что. Я не могла разобраться в своих чувствах. Скорее всего, мне все было противно. Но более всего я была отвратительна сама себе. Потому что мне было страшно потерять Р. Ирландец ирландцем, но с Р. меня многое связывает. Терять страшно, даже когда умом понимаешь, что это к лучшему.

18.17.16. Р. уехал до того, как я проснулась. Посмотрела на себя в зеркало. Неужели вон та, это я? Седая, с мятым лицом, разводами туши под глазами? Какая-то старая гримза с картин Тулуз-Лотрека.

Куда бы спрятаться, зарыться с головой? Напустила полную ванну воды. Под водой тело разгладилось, уже не такое противное, как в зеркале. О чем думает старая б...? Разумеется, о первой любви. Мне было двадцать, ему — семнадцать. Я уже встречалась с Т., отцом Ника, но там ничего не было, кроме обычных отношений между людьми противоположного пола. Собственно, они и завершились потом, через полтора года, рождением Ника. Мальчик кончал десятый класс, писал стихи, поразительные, как тогда казалось в провинции, нет, вру, провинция тут ни при чем, стихи были талантливые, жаль, не осталось в памяти ни строчки, но я и классиков не помню, так что это не показатель. Сейчас мне кажется, что он был похож на юного Блока — курчавый, большелобый... Впрочем, не помню. С Блоком — неправда. Аберрация зрения. Просто хорошенький мальчик. Поэт. Мальчик знал про существование Т., он писал мне стихи в тетради, тетрадь не пропустили таможенники, во всяком случае, я их хранила. Разумеется, была весна. Тогда казалось невероятным чудом — любовь весной, какое совпадение, ай-ай-ай, но сюжет избит, исполосован ремнями литературы. Если бы можно было переделать прошлое, я бы поселила наш роман в лютую зиму. Но и зимние романы обрисованы классиками. Никуда не денешься. Значит, был прекрасный весенний день, когда впереди целое лето, трава зеленая, мелкие цветочки, голубенькие, беленькие, желтенькие, самые первые, не знаю, как они называются, очень нежные. Я ощущала кожей или под кожей, как его влечет ко мне и как он борется с собой. Зачем, подумала я. И соблазнила его. Все произошло, как говорится, стремительно, мальчик был счастлив, а я свернулась калачиком, уткнулась головой в траву. Хотелось превратиться в улитку и чтобы кто-то наступил на панцирь и раздавил его. Мальчик меня утешал, обещал завтра жениться. Когда я развернулась, то увидела холмистый ельник, с которого мы сбежали на эту поляну, я что-то такое почувствовала, то ли страх, то ли испуг, и снова свернулась в улитку. Помню, деловито прошмыгнул муравей, огромный, как слон, за ним еще один. Мальчик курил и гладил меня по панцирю. Я все слышала — жужжание проснувшейся мошки, шорох пробивающихся сквозь землю стеблей. Мы проскитались с ним все лето по каким-то лесам, деревьям, а потом его мать сделала все, чтобы отправить его в армию. Когда он вернулся, это было страшно. Это было страшно, потому что вернулся не он. И никто никогда не разубедит меня в том, что армия — это конец. И я сказала Т.: «Мальчиков нужно увозить». Нику тогда не было и года. Выходит, я здесь благодаря поэту. Благодаря той минуте, когда я увидела его после армии. Я стала искать людей, которые собираются отъезжать. Встретилась с К. Вот уж его я точно взяла гипнозом. Мы поженились и вместе подали. Для чего, разумеется, пришлось разводиться с Т. Т. вел себя благородно, но попробуй мне возрази! Т. пришлось отказаться от Ника. Он сделал это молча. Здесь я поняла, что это за бред. Если бы мы решили с Ником эмигрировать в Канаду, Т. не нужно было бы отказываться от сына, а К. — его усыновлять. Я говорю Э. — у тебя два сына, им предстоит армия. Нет, говорить об этом — все равно что вращаться на карусели, у которой отказал стоп-кран.

18.18.18. Прилетела Э. Полна впечатлений: города внезапно вырастают на дороге, едешь — вдруг перед тобой огромный город, секунда — и его нет, а потом ты непонятно каким образом оказываешься внутри него, про выставку каких-то пенсионеров с чистым незамутненным взглядом, но не как у детей, а как у стариков, процеженным и отфильтро-

ваным временем, про карусель, которую какой-то дедуля мастерил с семидесяти восьми до восьмидесяти шести лет, про механическое пианино в Кембридже, как пожилые люди следят за текстом старого мюзикла на вертящемся шарабане и поют, пожилые люди ее потрясают, подвижные, мобильные, будто, освободившись от работы, они снова начинают жить и даже лучше, чем раньше; про выставку Арт-Нуво из Мюнхена, чуть не прошла мимо, когда была в филладельфийском музее. А ей важна эта выставка, поскольку ее сейчас занимает мировоззрение художников Германии на сломе веков. «Представляешь, — говорила она, —ходишь в музей, а там все, что ты выучила наизусть по альбомам и открыткам, — Клее, Архипенко, Шагал . . .»

Где уж мне представить! В Филадельфию мы ездили с Ф., запомнила вид из окна: белый небоскреб, выросший после дождя сам по себе, рядом стена с какими-то каракулями, одна стена, но не бетонная, а тонкая, загораживающая часть стройки. Сколько всего я прошляпила!

Э. сидела за столом, подперев голову обеими руками, в ее серых глазах что-то словно промелькнуло, пробежало и исчезло. В глазах, разумеется, ничего бегать не может, но я видела, что там кто-то бегал. Именно в тот момент, когда я думала, что прошляпила что-то такое важное. И Э. сказала: трудно возвращаться из Парижа в гетто. Она ждала моего вопроса — при чем Париж и какое гетто. Я думала: «Сейчас она объяснит, и я пойму, что промелькнуло в ее глазах». Не во взгляде, в нем только говорится, что что-то мелькает, а в глазах. Э. спросила, знаю ли я, что после детей, которых депортировали из Терезина в Освенцим, осталось много рукописных журналов. Откуда мне это знать? Возможно, ими пользовался Люстиг, когда писал про Перлу, или они ему были не нужны. «Так вот, — сказала Э., — я ездила в архив Терезина и все это видела». Глаза у Э. стали какими-то дикими, как у Кузьмы, мне почудилось, что она видит не меня, а тех детей. Тогда я спросила ее, при чем все же Париж и гетто. Она ответила: «В Терезине жила девочка под псевдонимом «Мерси», она потом погибла в Освенциме. О том, что она была, свидетельствует ее текст под названием «Мое будущее». В нем она описывает, как после войны поедет в Париж, учиться. Видно, девочка была из очень культурной семьи. Итак, она уже в Париже, уже поступила в университет, мечтает наверста упущенное и быстро двинуться дальше. Ее пленяет Лувр. Она часами стоит перед полотнами больших мастеров, — так она пишет, — и перечисляет: Леонардо да Винчи, Ван-Гог, Сёра. Потрясенная, выходит из Лувра, мечтает скрыться от парижского многолюдья, чтобы в одиночестве пережить всю эту красоту. Она забывает есть, но не забывает писать домой подробные письма . . . А потом она отравляется от страсти и видит — Бауэрплац, — место, где их часами пересчитывали на апеле. Вот, собственно, и все, — сказала Э., — большое Мерси. Когда это пересказываешь, жутко, но не так, как когда это звенит в ушах, когда это сопровождает тебя по Филадельфии и Бостону, когда с этим не можешь заснуть в университетской гостинице, когда с этим ничего нельзя поделаться».

Я возразила: «У Мерси не было выбора, и у ее родителей не было выбора». Э. замотала головой. Она больше не может. Зацикленность добывает окончательно. Рождение ведет к смерти, смерть к рождению, из этого лабиринта нет выхода. А он наверняка есть, только мы его не знаем. Я спросила ее, видела ли она «Кукушкино гнездо». Да, у них шел этот фильм, она его видела. «Но, — сказала Э., — она не похожа на тех сумасшедших, которые могут выйти из дурдома,

но не хотят. Ведь есть два выхода — или выйти, или попробовать изменить что-то внутри». «Но ты помнишь, чем кончился бунт в сумасшедшем доме?» Я опять сделала Э. больно.

18.17.16. Э. заснула. Я села за работу. Не удается набирать механически. А. раздражает. Что было бы, если бы не убили Столыпина, что было бы, если бы не убили царя? Но убили Столыпина и убили царя! Бросила А., хотя близится срок сдачи. Э. берedit душу. Скорей бы она совершила перелет из Парижа в Терезин. Дурацкая шутка.

Решила проветриться. У Ника прекрасный сон, этим он тоже пошел в Т. А я научилась исчезать бесшумно. Босиком к двери, сапоги подмышкой.

Выхожу на охоту. Запаслась на пару дней. Заглянула в кафе. Ирландца нет. Спросила у бармена, куда подевался ирландец. Тот показал мне свои роскошные белые зубы. Ответил на испанском английском, что не знает, но рассчитывает скоро его увидеть. Десять лет тому назад здесь не было испанцев, теперь они открыли бистро, лавочки и цветочный магазин.

Когда я вернулась, то застала Э. стоящей на балконе в моей дубленке. Она проснулась, не обнаружила меня дома и испугалась. Чего испугалась? Что со мной может случиться? Откуда она знает, ей стало страшно. Я предложила ей водки с апельсиновым соком. Заварила чай с фиалкой. Сомневаюсь, что фиалка успокаивает, хотя вид цветущих фиалок... В чае они расправляют свои лепестки, но цвета нет. Он утрачен, и уже одно это не может утешить.

Под воздействием водки с фиалкой Э. пустилась в рассказы о посещениях школ, больниц, дурдомов Америки. Инвалиды в колясках, разъезжающие по теологическому факультету, вернули ее в советские дома инвалидов и престарелых и она завелась на полный оборот.

Дурочка, я же не покончу самоубийством от того, что в России бардак! Да ни один русский эмигрант не застрелится, если узнает, что на его родине детей подвергают принудительному психиатрическому лечению. Я — не связной Варшавского гетто, не Карский и никому не буду передавать эту информацию. Или она меня воспитывает? Ты, мол, сбежала для лучшей жизни, а я, мол, страдальца, кричу на весь мир о наших язвах и никто не внемлет. В дерьме не стоит копаться, из него надо вылезать, сказала бы я ей, если бы знала, как это сделать. Оно же не снаружи, оно — в нас.

0.0.0. Я на нуле. Э. примеряла юбку. Сидит как влитая. Уговорила ее на парикмахера. Тем более, что после Севера у Э. лезут волосы клоками. Стрижка укрепляет корни.

0.17.100. Парикмахерская отменяется. Вместо парикмахерской она отправилась в Нью-Йоркский университет. На какую-то лекцию. Купила ей бальзам для волос и шампунь. Не знаю, о чем она думает! Туда же нужно все, даже стиральный порошок.

Звонил Р. Роман застопорился. Я сказала, — ноу проблем, — я всегда к его усугам. Не отреагировал.

26.26.27. Уговорила Э. на еврейский ресторан в Гринвич-Вилидж. Там крутят фильмы Чарли Чаплина и дают мел рисовать на столах. Заказали специально для Э. «Оборвыша». Весь фильм смотрела не на экран, а на нее. Значит, и ее можно отвлечь от мраков, от неотступных

мыслей, что делать с детьми, нанайцами и как помочь армянам. После обеда сыграли с ней в слова, пять-на-пять, на столе. Не представляла, что Э. такая азартная. Она проиграла и тотчас потребовала реванш. Я спросила Э., думает ли она о своих гагаузах, нанайцах и якутах в постели. Вопрос не ко времени — Э. не находила шестибуквенного слова. Разглядела ее глаза. Серые, с зелеными вкраплениями, но не пятнышками, а мелкими многоугольниками (слово большое, фигурки малюсенькие) или призмами, сквозь них, наверное, совершенно причудливо все преломляется. С такими глазами нужно жить на свободе.

Показывала Э. нью-йоркскую достопримечательность — кафе, где собираются гомосексуалисты. С улицы видно, как они стоят за стойками, обнявшись. На Э. кафе не произвело никакого впечатления. Я спросила Э., как она относится к сексу, или у них там на это нет времени. Не знаю, почему я спрашивала именно у нее, именно об этом, именно этим вечером. Чтобы низвести Э. до моего примитивного уровня? Э. сказала, что она так устает в последние годы, — это лет десять, — что воспринимает это скорее как обязанность, редко иначе. Ну а кроме мужа? Э. пожала плечами. Она сказала, что здесь и там — разные установки. Здесь — на здоровую жизнь, где и разумный секс прибавляет здоровья. У нас по-другому. «Как по-другому?» — спросила я. Она ответила, что специально этим вопросом не занималась. У нее был роман до замужества, очень такой русский — долготерпение, недельные дежурства у телефона. Это ее вымотало. И больше не хочется. Да, здесь, в Корнельском университете, она познакомилась с симпатичным парнем. Он работал в Индии и на Аляске, в школе. У него тоже, как и у Э., отморозены большие пальцы ног. Живет на берегу Фингер Лейк. Холост. Дом, машина и собака Айси с Аляски. Подходящая пара! Наверняка он в нее влюбился. Э. ответила, что очень даже возможно. Но из этого ничего не проистекает. Я сказала, что любовь неразумна, и что если влюбишься, то не думаешь, что из этого проистекает. Она возразила: муж остался с детьми не для того, чтобы она крутила романы на стороне. Я сказала, что не нахожу прямой связи между этими двумя фактами. Оказывается, ее страшит раздвоенность. Я сказала, что не вижу здесь никакой раздвоенности. Мужчина, с которым спишь, делает тебя другой, ну, не с которым только спишь, — для Э. это могло прозвучать грубо, — с которым сосуществуешь, пусть временно. Это же такой соблазн: узнать другого и увидеть себя иной. Я несла чушь, Э. молчала. Наверное, думала обо мне то, что я и есть на самом деле и чего я заслуживаю.

2.6.85. Нужно что-то сделать с собой. Я — пустота, о которую ничто не споткнется. Где-то я вычитала такие слова. Пустота не может поставить подножку. Но тело, в котором пустота обретается, может соединяться с другими. В такие мгновения возникает иллюзия наполнения тела плотью души. Сама не понимаю, что пишу. Р. молчит. С тоски набрала две трети идиотского текста А. Может, он заикливший и вгоняет меня в транс? Я уезжала в 27 лет. Через неделю стукнет сорок. Наверное, все и там постарели, обрюзгли, облысели. Хотя Э. не очень изменилась. Но я ее помню только беременной. Что нас, девушек, не красит. Э. встретила здесь многих друзей, с которыми распрошталась на веки вечные 10—15 лет тому назад. Говорит, что это как встречи с призраками. Я для нее призрак из Минска. Призрак в квадрате, поскольку она уезжала из Минска до того, как я — в Нью-Йорк.

98.76.59. Э. собирает вещи. Сидит на чемодане, приминает тряпки и книги. Рассказывает: ездила к своей бывшей очень близкой подруге в Эмхарет. Та, когда уезжала, клялась ей — главным ее делом будет помощь тем, кто остался. Но не написала ни одного письма. Э. спросила ее о причинах молчания. Подруга объяснила: ей было стыдно писать. Такие нормальные проблемы, все разрешимые. С Россией нужно рвать сразу, окончательно и бесповоротно. Иначе умрешь от мысли о тех, кто там остался. Э. сочла такое объяснение убедительным. У нее точно такое же чувство — невозможно видеть все это изобилие, невозможно спокойно жить здесь, зная, как там. Куда же она едет?!

1.8.4. Прибыл К. Чтобы повидаться с Э. Тоже старые приятели. К. — психотерапевт, а Э. интересуется наука о человеке. Меня нисколько. Я зевала, в который раз слушая теорию К., остроумную и никчемную, как все, что придумывают мужчины. Суть ее в том, что нужно наслаждаться. Не ново, прямо скажем. Но почему? А вот почему: при современных способах регулирования деторождения на свет появляется лишь тот, кого запланировали. Единицы — вне плана. Мы же — продукты неосторожной любви, везунчики, мы родились благодаря запрету на аборт и полному отсутствию гигиены брака. Мы должны торжествовать — провели собственных родителей. Ни в коем случае не строить из себя жертв. Жертва — это красиво, но в нашем случае — аморально. У жертвы нет выбора. Те, кто упорно продолжает считать себя жертвой режима, плохого мужа, вредного начальника, позорят нашу гвардию случайнорожденных. Им, видите ли, стыдно признаться, что хорошо жить — хорошо, а плохо — плохо. Им нравятся смешанные чувства, поскольку они считают своей родиной смешанные леса.

К. растолстел, обрюзг. Его жена, американская Пульхерия Ивановна, приносит своему еврейскому Обломову булки в постель и подкладывает подушки под спину, чтобы кровь не застывалась во время приема пациентов. Что ж, К. наконец-то реализовал свою мечту. Иногда задремывает в офисе под монотонные исповеди пациентов. Его бесит слово «проблема», проблемы на каждом шагу, их плохо берет гипноз.

И это не Америка сделала, не надо! Это — характер. Обломов в Америке на самом деле мало отличается от Обломова на родине. Разве что манерами Штольца, таким напускным деловизмом. Я бы посадила К. на яблочную диету.

2.8.91. Они ударились в воспоминания. Как напились и Э. убежала через дорогу на кладбище. К. нашел ее сидящей на мраморной плите. Привел домой, где всегда было полно народу, и уложил спать со своим старшим братом, других мест не было. Сказал брату: не трогай Э., она и так страдает. Они были знакомы с Э. еще до меня. К. подарил всем детям Э. по электронным часам, а ей самой косметичку. Тут он попал пальцем в небо. «Хорошее было время, — вздохнул К, — но все-таки мы вовремя смылись». Еще К. вспомнил, как мы отослали в Союз фотографии с нашего балкона, с небоскребами. Народ опупел. «Но мы с Фаней и не думали никого потрясать, — «мы с Фаней», — как это прозвучало! — послали для удостоверения географических широт — вот здесь мы живем. А так вот представить, а? После наших хрущоб и сталинских ящиков, а высотки, с их изысканной симметрией! Ты видела здесь хоть один небоскреб, который символизировал бы авторитарный стиль руководства?» — спросил он Э. Э. поинтересовалась, где сейчас обитает К. Он сказал, что вредная Фаня вернула его в хрущобу, правда в центре, на Манхэттене, рядом с офисом, но при-

выкнуть обратно, как говорят, требует социального мужества. Э. была в восторге от К. Сказала, что он единственный, кто, ну несколько, не изменился. Возможно. Только почему эта мысль так нас тешит? Все пустотело.

36.50.2. Э. уехала. Я не смогла проводить ее из-за работы. Да, из-за работы! Мы распрощались спокойно. Не осталось сил ни на какие эмоции.

38.52.4. Я прибавила к каждой цифре по двойке, чтобы мне самой было понятно, что от той записи прошло два дня. Или два месяца? Или два года? В этом пусть разберется будущий биограф, назначаю в биографы кабалиста. Теперь я постараюсь описать все, что произошло в последний день. После ухода К. меня развезло. Невозможно без конца погружаться в прошлое, тем более что я не вижу в нем никакого будущего. К. ушел в полночь. После трогательных расцелуев мы спустились к соседу, которого я попросила забрать книги Э. со склада. Чемодан русских книг. Философы-идеалисты, сионисты, даже «История телесных наказаний в России». Выпили с соседом кофе. Он набросился на Э. с расспросами. Э. — обстоятельная, но не умеет отбрехиваться. Мне надоели рассказы Э. о совдепе. Хлестаковщина. Небось Э. никогда не встречала такого внимания к своей персоне. Не податься ли в Россию? Пусть они там меня порасспрашивают о жизни эмигрантов в Америке. Это было бы поинтересней «Декамерона». Не то, что постная эта политика, без мяса и стирального порошка. Второй раз говорю об Э. с раздражением. Сначала обозвала Хлестаковым, теперь цепляюсь к тому, что она раскидала свои вещи. Э. тяжело встречаться с призраками, мне тяжело с ними расставаться.

Я ушла. Решила лечь, чтобы встать пораньше, купить кое-что для Москвы, аккуратно перепаковать ее вещи, она их просто побросала. Я оставила дверь открытой и спустилась в гараж. Села за руль. Время остановилось. Как на часах в Треблинке. Все — камуфляж: эти небоскребы, вывески, даже небо из картона. Хотя, что я придралась к небу? Мне просто хотелось точно знать, что все, абсолютно все, наша выдумка, что нас нет — ни соседа, ни меня, ни Э. Такая же выдумка, как Древняя Греция или Шумерское царство. Однако я направилась к метро, чтобы позвонить Р. из автомата. Инколлект. Если он захочет со мной говорить, то операторша нас соединит. Если нет — то нет. Никому из нас в таком случае это не будет стоить ни цента. Когда все рвется и трещит по швам, денежные отношения приобретают таинственную значимость. Все это я продумывала, пока операторша набирала номер Р. в Бостоне. И продумывала зря, телефон не отвечал. Никто никому ничего не должен. У телефона валялся все тот же бродяга. Вернулся на свое насиженное место. Мне захотелось потрогать его, живой он или это кукла из трухи? Я присела на корточки и приподняла край одеяла. Нет, этого не может быть, — подумала я. Такого просто не бывает. Под одеялом лежал мертвец, тот самый Тарзан, который несколько дней назад по моему совету уперся отсюда, лежал здесь, но он был мертв. Я позвала полицейского. Он заглянул туда, куда я, и сказал, да, мэм, это прискорбно, но вы правы. Идите, я займусь этим сам. Спасибо вам, мэм. Толстый добродушный негр-полицейский, на него вполне можно было кинуть бродягу. Я вышла из метро, дул ветер, Джорнал-сквер — открытое место, ветры волчком вьются вокруг небоскребов. Я нашла место, где потише, и закурила. Я пыталась гнать от себя это ощущение мистификации, отсутствия. Мертвый бродяга

все же был не из трухи, а из плоти и крови, которая застыла в нем, но она же недавно еще струилась в его сосудах, иначе бы он не смог сдвинуться с места, а он пошел, укрытый с головой одеялом, в сторону платформы, значит, он был. И его тело тоже свидетельствует о том, что он был. Но что свидетельствует о том, что было Шумерское царство? Нет, мне срочно нужна была травка, иначе бы я пропала. Как назло, этого типа на углу не было. Я бросилась в кафе, если ирландец вернулся, у него наверняка можно будет разжиться. Ирландец вернулся! Я кинулась ему на шею. Я сказала, что в метро нашла мертвого бродягу, что мне нужна травка и срочно. Ирландец усадил меня за стол, снял с меня дубленку, в кафе, наверное, было жарко, иначе зачем он снял с меня дубленку, заказал воды со льдом. Я выловила самый большой кусок льда и положила его в рот, чтобы молчать. Это было самым верным делом — молчать. Ирландец сказал, что мертвым уже не поможешь. Но неизвестно, хорошо быть мертвым или нет. Но что и живой живому не всегда может быть полезен. Наверное, если бы у меня всегда был полон рот льда, я бы гораздо больше узнала про ирландца.

Когда лед растаял, ирландец дал мне курево. Я сказала ему, что живой живому все-таки полезен. Но не всегда, — повторил ирландец. Не знаю, сколько времени мы провели с ним в кафе. Вернее, сколько прошло с того момента, как я вышла из дому. Я объяснила ирландцу, что у меня дома советская, которая утром уезжает, и нужно ей помочь. Помочь уехать? — не понял ирландец. Я спросила его, где он был эти дни. Он сказал, — не здесь. Ничего от него не добьешься. Мы курили, пили кофе, приходили три испанские девушки в сопровождении какого-то жирняги, они тоже курили, но другое, судя по запаху. Я спросила ирландца, почему он избрал испанское кафе. Он ответил, что не нашел ирландского.

Мы вышли на улицу, еще не светало, значит, было часов пять или шесть. Что подумает Э., когда увидит меня с мужчиной, под утро? Мне было все равно, я не хотела, чтобы он уходил.

Дома был переполох. Э. разбудила Ника. Ник сделал мне выговор. Э. была зареванная, она теперь уже точно была уверена, что что-то со мной случилось. Ведь я ушла, второй раз уже, не предупредив, исчезла на всю ночь. Я сказала ей, что действительно что-то случилось, наврала ей, что мы возились с мертвым бродягой, что если бы не этот джентльмен, с которым я познакомилась при удручающих, прямо скажем, обстоятельствах... Я врала при Нике, Ник посмотрел на меня с нескрываемым отвращением и ушел спать. Я кривлялась, хихикала, Э. смотрела на меня остановившимися глазами. Я сказала Э. — наверное, она теперь жалеет, что остановилась здесь. Кто я такая? Зачем она меня выбрала? Не нашлось местечка получше? В центре города, в образцово-показательной семье, спянной, без раздвоенности, где ложатся спать в 10 р. т.? В конце концов я сказала Э., что курю такие специальные сигаретки, и если она желает попробовать... Я сказала ей, что всякое живое существо имеет право на всякие фокусы и плохо ему может быть и в раю. Вот всем там хорошо, а ему, видите ли, там плохо! Призраки не того цвета, бесформенные, а хочется формы, этого знака воплощенной собранности.

Э. сказала, что она ничего не понимает, ведь она не упрекала меня, просто волновалась. Вот и все. Вот и все. Ирландец дочитывал последние страницы детектива. Р. тогда умудрился облить и книгу, обложка съезжилась. «Русские много страсти вкладывают в слова, — заметил ир-

ландец, — слова им заменяют все. Знают ли они о существовании пауз».

Э. спросила, откуда он сам-то родом. Он сказал — из Голландии. Э. спросила, бывал ли он в музее Ван-Гога. Она мечтает там побывать. Ирландец, — непонятно теперь, кто он на самом деле, но все-таки скорее ирландец, — сказал, что бывал, но Ван-Гога там не видел. Э. спросила меня по-русски, не сумасшедший ли он часом. Я ей ответила, что нужно быть осторожней и выбирать слова, может он русский и прикидывается? Поскольку ирландец на этот мой пассаж не отреагировал, можно было смело заключить, что он не русский. «Как, не видели Ван-Гога?» — удивилась Э. Ирландец объяснил, что видел Ван-Гога однажды, в детстве, в плохой книжке с репродукциями, вот тогда он его один раз и видел. «Вы и людей так воспринимаете?» — спросила Э. «Как?» — спросил ирландец. Неужели я такая бесцветная тварь, что со мной довольно спать и помалкивать! «По первому впечатлению». — Э. с трудом подбирала английские слова. «Это не впечатление, а открытие, — возразил ирландец. — Есть разница». «Как удержать в себе ощущение открытия?» — спросила Э. Видно, ее, как и Р., уже интересовал не сам человек, а предмет беседы. Р. людей не видит вообще, он создает их на бумаге, как бы сослепу, и сам удивляется, что они у него выходят с лицами, характерами, почти живые. Почти. Я намеренно соединила Э. с Р., чтобы с ними обоими расплестись разом. Но кто же этот ирландец, ирландец или голландец? «Не знаю», — ответил ирландец. Но не мне, а Э., на ее совершенно по-дурацки поставленный вопрос. Если б можно было удержать в себе хоть какое-то ощущение!

9.8.18. Не хватает духу на длинные записи. Звонила Э. перед отлетом из Вашингтона. Она забыла у меня кучу вещей: записную книжку, джинсы, шампунь, бальзам для волос. Попросила передать с кем-нибудь все, кроме джинсов. Их велела торжественно выкинуть. Справить по ним тризну. В голосе Э. было какое-то истерическое веселье. Я передала ей, что звонил ее друг с обмороженными пальцами. Она сказала: «Мерси». Она нарочно упомянула Мерси, чтобы я поняла, что она сейчас испытывает. Я поняла.

4.6.9. Рождество. Это не наш праздник. Ник ушел к друзьям. Я объяснила ему, что у православных, если он таковым себя считает... «Я себя никем не считаю, — перебил меня Ник и прибавил: — Донт вори! Хэппи Кристмас!» Пытаюсь представить Шереметьево, зиму, настоящую, не как здесь, — выходит плохо. Э., ко всему прочему, забыла тексты своих лекций. Я честно пыталась прочесть первую страницу. Какие-то цифры, диаграммы. Этого я боялась со школьной скамьи. В конце концов, надоело разбираться в процентах чукчей, нанайцев и гагаузов. Так, наверное, проходит любовь, она проходит, и все, что с ней связано, становится пустотой, о которую не споткнуться.

Разделалась с А. Отнесла готовый набор к соседу. Он поинтересовался, что слышно о советской. Забыть ее не может. А я — могу. Я научилась не привязываться к людям. Кузьма — дело другое. Честный зверь. Сказала, между прочим, что А. — бездарь. Я бы его не стала печатать. Сосед согласился. «Парень хороший, жалко обижать». Русский альтруизм. Попросила денег вперед. После отъезда советской все прокурила. Вела такую жизнь, о которой противно рассказывать даже самой себе.

20.1.20. Р. закончил роман. Так быстро? Но уже весна. Неужели? В Америке широкая общественность не отмечает Международный день

8 Марта, только социалистки. В России я бы не проспала весну, на 8 Марта на работе преподнесли бы четыре тюльпана и пять нарциссов в комплекте. Или одни тюльпаны. Или одни нарциссы, по низшему разряду. Р. важно мое мнение. Не как персонажа, как человека с чутьем. С природным вкусом, — прибавил он, доплатил. Почему я все время чувствую себя обиженной? Если я обижена, то только тем, что не могу пробиться сквозь стену.

20.7.89. Пыталась перевести ирландцу слова Флоренского, которые только что набрала для сборника «Русские мыслители. XX век». «Художник изображает не вещь, а жизнь вещи по своему впечатлению от нее». Как ни крутила, вышло неуклюже и неточно. Ирландец промолчал. Он не любит определений. Его не интересуют русские мыслители. А что его интересует? «Пустота», — сказал ирландец. «Тогда ты нашел прекрасный объект». Ирландец согласился. Я спросила, кем он работает. Он сказал, на жизнь хватает. Я боялась, что приехал Р. и не пригласила ирландца. Когда я уходила из кафе, чувствовала спиной его взгляд. Очень спокойный.

7.8.5. Р. ждал меня дома. Как, впрочем, я и думала. С бутылкой коньяка и толстой папкой. Какой он, Р.? Высокий, светлый, аккуратно одетый, совершенно не еврейский на вид. Не скажешь, что он из Одессы. Скорее, инженер по холодильным установкам из города Горького, приодевшийся по случаю заграницы. Тем более дико смотреть на него, когда он заводится. Словно из недр этого человека в наглаженном костюме выползает тысяча маленьких чертей, они кусаются и щипаются, но не задевают за живое. Так слоняются по поверхности и создают месс. Р. рассказывал, что в детстве у него было много игрушек, а квартирка тесная. Когда он подросток, мать подарила все его игрушки соседскому мальчику. С тех пор Р. обиделся на мать, на мальчика, который, не имея никаких на то оснований, стал обладателем богатства. Р. говорит о себе: я фрустрированный с детства. А что если ничего ничем не объяснять? Не пытаться организовать рвань в красивый орнамент? Кажется, именно это удастся ирландцу.

Мы выпили за роман. «Каким бы он ни оказался, ты получил удовольствие от самого процесса», — так я сказала ему. Реакция была стабильной: «Ты не веришь в мой талант». А если это он прав? Но это, конечно, неправда. Так только кажется сейчас, после отъезда советской. Р. жаловался: совершенно опустошен, текст-пылесос высосал из него все внутренности. Мне следовало ему сочувствовать. Сочувствие выразилось в известной форме . . . Так Перла жалела старого художника. Когда Р. заснул, я ушла с романом в гостиную. Не терпелось узнать, какова жизнь вещи по впечатлению художника, то бишь Р.

1.8.800. Письмо от советской. Сплошное «все в порядке». Дом, дети, муж, работа. Впечатления об Америке сообщит отдельно, когда устоятся. Самым странным показался ей ирландец. Похоже, не человек, а какое-то другое явление природы, которому не подберешь названия. Р. — с амбициями. Ник добрый, К. — прелесть, Кузьма — хулиган. Ну и, конечно, она очень-очень благодарна мне за все, все, все.

Может, пустой конверт, подписанный ее рукой, порадовал бы не меньше.

7.8.6. Можно ли считать роман Р. «Послезавтра в Сан-Франциско» несуществующим? Ирландец презентовал картину — серый кот на фоне

зеленых колючих кактусов. Кот смахивает на Кузьму. Спросила ирландца, чье это, он ответил: «Твое». Может быть, он — художник?

29.68.68. Просила Р. переделать конец, придумать что-нибудь другое. Ведь он убивает этим не меня, а роман. Р. закричал: «Что это за советский литкружок при доме пенсионеров! Кто бы посмел советовать графу Толстому не бросать Анну Каренину под поезд, не отправлять князя Андрея воевать, никому не приходило на ум вырывать пистолет из рук Вертера!» И все в таком духе. И тут я взвилась: «Ты мечтаешь, чтоб я сдохла, я разрушаю твой имидж!» Р. ответил, что теперь-то он видит, как он прав, тысячу раз прав. Когда он шел к финалу, то человек в нем, человек, который достаточно знает Фаню Л., этот человек хотел сохранить Эстер, но художник воспротивился человеку, художник видел именно эту развязку и никакой другой. Но это же сентиментальная пошлость — топить в прекрасный день, в прекрасном океане неверную любовницу вместе с ее придурковатым немцем-эмигрантом. Р. зашипел, полез зачем-то в карман пальто, уж не плохо ли ему, может, он ищет валидол, — подумала я. Но просчиталась, он со всего маху запустил в меня ключом от моей квартиры. Попал по губе. Наверное, шрам так и останется, небольшой, но заметный, ничем его не замажешь.

9.10.100. Наверняка роман принесет Р. тот самый успех, которого он жаждет. В принципе, чем-то же нужно было завершить монументальное полотно об эмиграции, все классические романы завершаются естественной или насильственной смертью героев. Видно, как текст раскалывается на две части. Раскол случился в тот вечер, когда Р. увидел нас с ирландцем. Он рыдал, повторяя: «Я так и знал, я так и знал!»

После этого он принял решение — упечь Эстер в Израиль и пусть она там обнаружит свое истинное лицо. С этого места Эстер, которую он не судил, напротив, всячески выгораживал в первой части, — из жертвы превращается в фурию. Бросает ребенка, пьет, совращает набожного еврея, еще и обкрадывает его. Все пороки, какие есть в женщине, — и тут я согласна с Р., что в женщине их куда больше, — обнаруживают себя. В первой — Эстер в них как бы и невиновата: жуткая жизнь, мертвая квартира, злобная мать... С Израиля все катится в пропасть. Мудрый старик — герой Шестидневной войны — пытается образумить Эстер, эту заблудшую дочь еврейского народа, — тщетны его усилия. Конечно, Р. подарил мне Изидину пепельницу меж грудью и кофе в постель. Кофе с пепельницей, обнаженная грудь... Герой Шестидневной войны оплакивает живую Эстер, рвет на себе волосы и посыпает их пеплом. Видя такое дело, Эстер уезжает из Израиля в Америку, где тотчас вступает в порочную связь с поляком, представителем антагонистической ментальности, при этом крутит роман с каким-то сыном немца-эмигранта из Казахстана. Сын-ублюдок, он осуждает своего отца, который вывез его в Америку, а не в Германию. К тому же он оказывается антисемитом. Тут бы Эстер порвать с ним! Но нет. Она бредит поляком и спит с немцем. Поляк, профессор полонистики, моет посуду в Русском ресторане, по контракту, чтобы заработать валюту на семью. Он — патриот, верующий, прекрасный семьянин. Эстер расставляет силки, но не уловить ей душу католика. Он не оставит ни семьи, ни родины. Живой укор! Пример! Но Эстер несправима. Такая тварь. Правильно Р. ее топит. В России, между прочим, я бы и не умерла красиво, один дурак позвонил бы другому

дураку среди ночи — срочно нужна надпись на красной ленте черной тушью, — а здесь я тону в океане, не в луже с бензином, и не одна, а с немцем, избавляю еврейский народ от себя и от него разом. Да так долго тону-то, целых шесть страниц. Тону под пером Р.

2.1.9. Никаких планов на отпуск. Р. сообщил, что собирается в Россию. Ему прислал приглашение К. С. — известный писатель, бывший друг Р. по Одессе. Хорошо бы они улетели с матерью на одном самолете. Р. дал прочесть роман советскому издателю, который был в Бостоне, тому понравилось, попробует предложить в «Новый мир». «В таком виде?» — спросила я. Р. признался: конец того тоже не устраивает. Он предложил остановиться там, где Эстер размышляет о пустоте. «Не соглашайся, — сказала я. — К тому же в России твой роман прозвучит как призыв: «Евреи! Оставайтесь на своих местах. Видите, вам не помогает даже эмиграция!» Р. взвился — как я смею обвинять его в конъюнктуре! «Но ты же по советской указке снимешь финал», — сказала ему я. «Моим главным желанием было вывести тебя на чистую воду», — сказал Р. «Чтобы в ней и утопить», — добавила я. Нет, я этого не сказала. Я это сейчас подумала.

2.6.10. Как пробить в стене хоть крошечное отверстие? Глянуть бы, какие возможности могут еще открыться, возможности, которых не только что предположить, предугадать нельзя. Каждый понимает то, что хочет понять. Каждый достраивает образ по-своему, завершает его произвольно. А что в действительности? Или она такая же ирреальная, как небытие, только повернутая к нам, пока мы дышим? Или нужно замолчать и в тишине услышать смысл, таящийся в молчании? Ирландец сообщил, что заработал кучу денег. Предлагает слетать в Калифорнию. Только этого не хватало!

10.1.100. Жара. Сплю при открытом балконе. Дышать совершенно нечем. Ник уехал в Кливленд, к приятелю. Мы с Кузьмой ворчим и потеем. Может, слетать в Вашингтон, познакомиться с Люстигом? С тоски перечитывала дневник Перлы. В Терезине я была бы только проституткой.

67.5.9. Ирландец проявил настойчивость. Принес два билета на самолет, туда и обратно. Всего неделя. Если я откажусь, он улетит один. Сейчас сезон, отказаться можно в последнюю минуту. Штраф минимальный. Я спросила, почему в Калифорнию, а не в Гонолулу. Там тоже хороший пляж. Ирландец ответил, что в Сан-Франциско есть где жить, а в Гонолулу трудно с гостиницей. Улетаем послезавтра.

1.17.1. Не знала, брать с собой тетрадь для технических записей? Больно уж громоздкое сооружение. Но в последнюю минуту пихнула в сумку. Ирландец, даже если захочет, не прочтет. Хорошо, что он меня уговорил. С ним странно себя чувствуешь. Вроде он есть — и его нет. Может, Э. права. Это какое-то другое явление? И познание неизвестного доселе явления и есть открытие неизвестной возможности?

Я прервалась, чтобы прочесть письмо от Р. Как он меня здесь разыскал? Через Ника? А Ника через кого? Я вышла на террасу и нашла конверт. Думала — хозяйину, нет — мне. Р. впал в маразм: выслал мне якобы вырезку из якобы какой-то газеты следующего содержания: «О влиянии литературы на жизнь. Р., автор известных романов, таких-то и таких-то, в своей статье приводит несколько любопытных фактов. В частности,

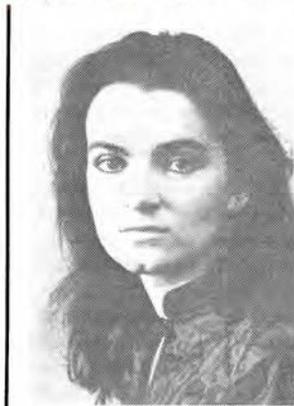
недавно Р. подготовил к публикации новый роман «Послезавтра в Сан-Франциско» о проститутке из Советского Союза, которая после серни неудачных попыток начать новую жизнь тонет с любовником в океане на берегу Сан-Франциско. Недавно Р. получил трагическое сообщение: прототип Эстер — Фаня Л. утонула при вышеуказанных писателем Р. обстоятельствах. Незадолго до своей трагической кончины она ознакомилась с рукописью романа Р. Вот еще одно свидетельство непосредственного влияния сюжета текста на сюжет жизни». Иднотнзм. Но мне стало как-то не по себе. Я побежала на пляж за ирландцем, на нашем месте его не было, тогда я стала всех подряд спрашивать, не видел ли кто такого-то мужчину, высокого, худого, с бородой, но здесь такне на каждом шагу, а примечательных черт у него нет, разве что близко посаженные глаза, одет в белые джинсы, рваные, без майки. Все советовали обратиться в полицию. Как я раньше не сообразила. Привыкла у нас спрашивать у людей и избегать ментов. Полицейские не поняли, что случилось, ну, отлучился, человек, вернется. Вот я и жду.

0.0.0 Его нет. Теперь уже и полиция задействована, и водолазы. Пока не нашли. Но ведь у Р. в романе ясно написано, что я утонула с немцем-эмигрантом. Неужели он не ирландец, а немец-эмигрант из Казахстана?! Звонила Р. Проклятие, его нет в Бостоне. Уже четвертый день. Вдруг это все козни Р.? Но я-то жива! А может, н я утонула?

18.18.18. Ирландец вернулся! Вся литература — врань! Правда, он сказал, что он не ирландец, а шотландец, но мне все равно, главное — жив. Я спросила его, где он был. Ответил — не здесь. Я сказала, что его искали водолазы и полиция. Он сказал, что когда человек не здесь, его не могут найти ни водолазы, ни полиция. Оттуда, где он был, он принес или привез огромного осетра, сказал, что будем его есть послезавтра на прощание. Почему на прощание? — спросила я. Он уезжает на родину. Я спросила, где же все-таки его родина. Он ответил, что еще не знает. Сначала нужно туда добраться.

6.1.89.

## К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ



Лилия ДИНЕРЕ — график, акварелист, иллюстратор книг, живописец. В 1980 г. окончила Государственную академию художеств Латвийской ССР им. Т. Залькална в Риге. По специальности — живописец-театральный декоратор.

С 1981 г. Лилия Динере член Союза художников Латвии. Активно участвует в республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Иллюстрировала более тридцати книг. Имеет дипломы и премии.

Работы Л. Динере приобретены Третьяковской галереей, Музеем изобразительных искусств им. А. Пушкина в Москве, Государственным изобразительным музеем в Риге, Ашхабаде, Челябинске. Персональные выставки состоялись в 1981 году в Риге и в 1988 году в Джайпуре (Индия).

В графике Лилия Динере предпочитает технику шелкографии и цветное травление на цинке. В живописи — акриловые краски. Работы Лилии Динере являются отражением вечной символики через современные ассоциации.

## К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ



## СТИХОТВОРЕНИЯ. ПЕРЕВОДЫ

\* \* \*

Леонид ЧЕРЕВИЧНИК родился в 1917 г. на Украине, детство и юность его прошли в Киеве. После окончания средней школы работал на заводе, служил в армии. В 1959—1964 гг. жил в Москве, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. После окончания института в декабре 1964 г. приезжает в Ригу.

Издап книги стихов: «Микрофантазия» (1966), «Песочные города» (1971), «Зеркальная колыбель» (1977), «Март» (1981), «Круг» (1987). Переводил стихи современных латышских поэтов и патышских поэтов конца XIX в., первой половины XX в. — Я. Порука, В. Плудоинса, К. Скалбе, Ф. Барды и др.; среди книг переводов: А. Курций «Беды солнца» (1974), П. Рознтис «Желудевое ожерелье» (1978), Э. Венденбаум «Стихотворения» (1980), Р. Блауманис «Стихотворения» (1984), «Пути огня. Из патышской классической поэзии» (1986).

А мы не косим трав с лугов,  
Не жнем, не лечим от болезней,  
Живем, ленивее богов  
И звезд далеких бесполезней.

Мы любим легкость табака  
И бег в крови настоек пряных,  
Цветы, пространства, облака  
И женщин, милых и упрямых.

Мы знаем, что не разрешить  
Природы вечные загадки,  
Как и луму не сокрушить,  
Стреляя камнем из рогатки.

И потому — среди людей  
Мы бродим и бренчим на лютне.  
Мы — беззаботнее детей  
И старых нищих бесприютней...

А спросите нас: как живем? —  
Живем не так, как вы живете.  
И мы свой тяжкий крест несем,  
Но так — как самолет на взлете.

Мы набираем высоту,  
А нам вослед бросают камни,  
Кричат: ату его, ату!  
И потрясают кулаками.

\* \* \*

Я поднимался по бесконечным ступенькам,  
а когда добирался до солнца,  
я колол его длинным шестом —  
мне казалось, что солнце  
гаснет.

Я стоял на всех перекрестках,  
я останавливал прохожих и загораживал им путь,  
я говорил им: смотрите!  
и показывал туда,  
где, отброшенная взрывом,  
висела на ветках голова,  
которой осколком оторвало кусок лица.

Но одни улыбались: полумесец . . .  
Другие ругались: полоумный!  
И скрывались в уютных подъездах,  
и никто не смотрел назад.

И я стал развешивать плакаты,  
только их никто не читает,  
потому что дворники  
и грамотные постовые  
сдирают их со стен  
и гонят меня прочь:  
«Чего пужаешь!»  
И возвращают мне паспорт,  
и говорят: «Печать наша,  
а тоже малюет,  
ишь, маляр . . . »

1963

\* \* \*

— А что сейчас? . . . Вот раньше были казни! . . .  
Сейчас попроще: подошел и — трах!  
А вот когда сжигали на кострах  
Или когда был четвертован Разин —  
Вот это казнь была! Вот это страх!

Народец шел, — сбегались таракашки, —  
Оно, конечно, любопытно тут . . .  
А ты стоишь — рубаха нараспашку,  
Топор в руке: «Эх, полюби, милашка!» —  
И ждешь, когда злодея приведут.

Сейчас не то, сейчас все больше ссылки.  
Или вот пуля, — ну а что свинец? . . .  
Стоит перед тобой какой юнец,  
Пальнешь — он упадет с дырой в затылке,  
Подергается в луже — и конец.

Его б в костер! чтоб лопался, как чирей,  
А я б ему: «Пиши, милок, остри! . . . »  
Оно-то так . . . Но коль смотреть пошире —  
Когда б костры им, — так со всей Сибири  
Леса ушли бы на одни костры.

1964

## ИЗ УКРАИНСКОЙ АНТОЛОГИИ

АЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ

\* \* \*

В объятьях туч молчали горы.  
И тучи так сказали им:  
«О сестры милые, летим  
В иные, лучшие просторы . . .»  
В объятьях туч молчали горы.

И тучи тихо полетели.  
И серебрились слезы их.  
И, скатываясь с круч немых,  
Как слезы, камни гор серели . . .  
И тучи тихо полетели.

\* \* \*

Когда бы плакать мы могли,  
Какие бы из глаз незрячих,  
Какие б реки слез горячих  
По Украине потекли!  
Когда бы плакать мы могли . . .

Когда бы верить мы могли,  
Какие б вытерпели муки,  
Какую ношу взяли руки,  
Кресты какие понесли!  
Когда бы верить мы могли . . .

Когда б мы гневаться могли, —  
Пожар какой бы запалили,  
Какие б цепи мы разбили  
И палачей смели с земли!  
Когда б мы гневаться могли . . .

ВЛАДИМИР СВИДЗИНСКИЙ

\* \* \*

Над родником, у солнечной долины  
Черешня белоснежная цветет  
И лепестки ее срываются с вершины  
И падают в холодный омут вод.

Вода прозрачная колышет их, качает  
И из своей холодной глубины  
Их умирания не видит и не знает —  
Лепечет что-то им про юный свет весны.

---

Александр Олесь. [настоящее имя — Александр Иванович Кандыба; 1878—1944] — украинский поэт.

Свидзинский Владимир Ефимович [1885—1941] — украинский поэт, переводчик.

Усталый день, склонившись на холмы,  
Все спал и спал. И никогда, казалось,  
Уж не прейдут глубины голубые  
Над нивами. Ленивый, беззаботный,  
И я прилег, отдавшись власти сна.  
Проснулся — день блистающий мой, где ты?  
Мгла тонкая с востока пролегла,  
Двумя крылами охватила поле.  
В могиле солнце. Дерево умолкло,  
И, загнанные в чашечки тюльпанов  
Вечерним холодом, застыли пчелы,  
Что детство дня так радостно встречали.

\* \* \*

Когда я мертвую схоронил голубку,  
Тогда и стал искать ее повсюду.  
Иду полями — навстречу ветер  
Синие холсты продувает на взгорье.  
— Обойди поле, перейди другое,  
Ты бусину сможешь найти голубую,  
Ту, что утром заря обронила,  
Но нигде не найдешь своей голубки,  
Твою голубку земля замкнула;  
Сам же ты холмик ровнял над нею!

Иду я дальше — в лес вступаю.  
Лес громоздится сумрачной тенью,  
Стоят перелески в блистающем свете.  
Камни в лесу — от века глухие,  
Лисьи норы в лесу чернеют,  
Стоит голубица на склоне лога, —  
И тут не видать моей голубки!

Иду я снова — встречаю осень.  
Осень живет на мерзлой поляне,  
Вокруг двора золотая ограда.  
Сама осень по двору ходит,  
Руки поднимает в рукавах пламенистых,  
Вращает ветром как огромным кругом.  
— Осень, осень, где моя голубка?  
— Иди ко мне, стань под рукою,  
Как швырну тебя на дурной вихрь,  
И забудешь о своей голубке! . .  
Рекам шуметь, солнцу сверкать,  
Мне, осени, хорошо гулять,  
У дуба могучего век велик,  
А листьям опавшим зык да вскрик,  
А твоей голубке мертвой лежать,  
Глазами янтарными тьму вбирать . . .

**ПАВЕЛ ФИЛИПОВИЧ**

\* \* \*

Когда я слышу твой певучий голос  
И смех твой звонкий, легкий как полет,  
Мне кажется, что среди поля колос  
Качается и птица песнь поет.

---

**Филипович Павел Петрович [1891—1937] — украинский поэт, критик, литературовед.**

И все ликует в трепете весеннем,  
И синим василькам здесь не уснуть,  
И солнце сеет золотое семя,  
И ветер тучку снаряжает в путь.

Но гаснет день, и радость, догорая,  
Уже не оживит ночной простор, —  
Туман гнущий без конца и края  
Приносит мне твой равнодушный взор.

И за тобой, безмолвною, чужою,  
Мир скорбный не впервые вижу я.  
И осень простирает предо мною,  
Как вечность, черные свои поля.

## НИКОЛАЙ ЗЕРОВ

### НАВЗИКАЯ

Цвет феакийцев, сердце Навзикая,  
Как солнца луч над берегом крутым!  
Перед тобой убогий пилигрим  
И в пурпуре горящем гладь морская.

И царствен жест, с которым ты, скликая  
Своих служанок, обратилась к ним,  
Достоинства и обаянья нимб  
Над нежным детским лбом горит, сверкая.

А Одиссей глядит и, сам не свой,  
Завороженный прелестью такой,  
Готов забыть безмерность мук и горя:

Пред ним стоит — живительно чиста,  
Как всплеск лучистый Эллинского моря,  
И радостно смеется Красота.

### ВЕРГИЛИЙ

Мужик из Мантуи, медлительный, смуглявый,  
С младенчества, с пелен взлелеянный селом,  
Он возвеличил плуг и посох, и шелом,  
К вершинам поднялся в веках нетленной славы.

Он сквозь огонь и дым усобицы кровавый  
Провидел лучший век, поведав нам о том,  
Как мир покоится под цезарским орлом,  
Под легким бременем немеркнувшей державы.

Тот век прошел — и Рим, и цезарей дела  
Рука истории к гробам поволокла,  
Где всех времен лежат химеры и короны.

А он живет, и звон литых его поэм  
Доныне снится нам рыданием Дидоны,  
Бряцаньем панцирей и всплесками трирем.

---

Зеров Николай Константинович [1890—1941] — украинский поэт, переводчик, критик, литературовед.

## ШРАМ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ГУБЫ



На этом снимке Эгон Ливс (тогда он еще не был писателем и вряд ли сам догадывался о своем будущем предназначении) в форме Красной Армии. Так уж складывалась в те годы его жизнь, что каждый этап ее был отмечен каким-то другим цветом обмундирования. Мальчишкой он был вынужден напялить мундир легиона «Остланд», как и тысячи его сверстников, ставших жертвой военной мясорубки. Затем в робе з/к он рыл каналы «великих строек». Затем судьба делает очередной кульбит — и Эгон Ливс становится солдатом Красной Армии, тогда-то и запечатлел его объектив фотоаппарата.

В литературу он вошел в то время, когда работал диспетчером рыболовецкого колхоза. На всю жизнь он сохранил верность людям моря. Рыбаки считали его своим. Старые моряки помогали ему воссоздавать историю латышского мореходства. Прозанк собирал рассказы и документы, которые должны были лечь я основу романа о Кришьянисе Валдемаре. Он выступал за то, чтобы латышские ребята на латышском языке

ке в латвийской мореходной школе снова овладевали профессией своих предков. Идут годы, и все меньше молодежи приморской республики поднимается на палубы кораблей, ибо система виз и разрешений бдительно следит — нет ли у тебя родственников за границей, не были ли высланы близкие в Сибирь?

Да и к Эгону Ливсу чиновничье племя относилось достаточно сдержанно, ибо в молодости, как уже говорилось, будущий писатель попал в жернова военной машины и встретил капитуляцию в форме немецкой армии. Тем не менее, его произведения, рассказы, киносценарии и особенно роман «Близнецы Чертова кряжа», который был переведен во многих странах, завоевали у народа прочную популярность. Эгону Ливсу не было присуждено почетное звание, он выпал из круга возможных лауреатов Государственной премии именно тогда, когда находился в зените славы.

Прожитое и пережитое настолько подорвало его сердце, что в 1989 году, не дожив до своего шестидесятилетия, прозаик умер.

Эгону Ливсу была чужда скоропись, и он не торопился выдавать в свет объемистые рукописи, хотя редакции неустанно интересовались его новыми работами и книги писателя не залеживались в издательствах. С полок книжных магазинов мгновенно исчезали и «Капитан Нуль», и «Баня старых романтиков», и «Прелюдия» и другие книги. Долгие годы писатель работал на Рижской киностудии, написал много сценариев. Фильмы «Капитан Нуль», «Ночь без птиц» и другие вышли на всесоюзный экран.

Неопубликованными остались дневники, которые он вел нерегулярно; они увидели свет только после перестройки. Остались неопубликованными воспоминания, у которых не было заголовка. Вместе с вдовой писателя Эдит мы дали им название «Шрам на внутренней стороне губы», которое наиболее точно отвечает сути повествования. Шрам на внутренней стороне губы, к которому язык прикасался всю жизнь, физически напоминал драматические годы. Эгон Ливс позволил себе обратиться памятью к прошлому лишь много лет после войны. И он писал с такой откровенностью, что даже близкие не видели этих страниц. Как-то он сказал, что надо собрать вместе всю семью, чтобы прочесть ей написанное. Но так и не удалось выбрать подходящее время. Теперь этот документальный труд начинает свой путь к читателям. Когда рукопись была перепечатана, в ней оказалось 190 машинописных страниц. Полностью они будут напечатаны в журнале «Карогс». Редакция и вдова писателя любезно дали согласие на публикацию избранных фрагментов из этого документа эпохи в журнале «Даугава».

Эрик ХАНБЕРГ

Эгон ЛИВС

## С ВОЙНЫ

ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ «ШРАМ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ГУБЫ»

Перевел Леон ГВИН

Самые неправдивые рассказы на свете — это воспоминания

Перед концом войны, в начале апреля, стройбат Латышского легиона стоял на полуострове Хель в ожидании отправки морем... Куда? — этого никто не знал, наши поговаривали, что на датский остров Борнхольм, скорее всего так оно и было.

Солдаты вырыли в желтых песках Хеля яму под нужник: эта операция повторялась в сотый или в тысячный раз; как только батальон располагался

на новом месте, сразу же оборудовали галюн. Мы возненавидели эту работу; первым делом следовало устроить достаточно просторную и глубокую землянку, в три наката, чтобы хоть как-то укрыться от бомб и снарядов — русские жарили без передышки... уборная, конечно, важнее. Довольно длинный ров имел в глубину полтора метра. Если поблизости росли березы, жерди получались белые, бархатистые;

не то обходились молоденькими сосенками. Когда с туалетом было покончено и самые нетерпеливые взгромоздились на жердочки, строителей разделили на две группы: одну — рыть котлован под офицерский бункер, другую — заготавливать бревна для настила. Рубка сосен велась подальше от bivуака, так как окружавшие его деревья маскировали стоянку с воздуха. Лошадей у нас не было, и бревна приходилось волочить на себе, эта каторга нам порядком обрыдла. Сдав офицерское логово, принимались, как правило ночью, за свои берлоги. В последние месяцы тут вышло известное ослабление, уже никто не требовал солдатских землянок на десятерых, основательных, с прочным перекрытием. И мы развлекались кто во что горазд: одни рыли в подножии холма личные укрытия с двумя-тремя бревнышками над головой (в своих нишах эти отшельники напоминали монахов в кельях), другим нравились общаги, в которых, конечно, надежнее, но беда с насекомыми. Мойся не мойся, борись с этой живностью хоть круглые сутки, но люди разные, и в общей землянке, где спят вприкуру, от окопной царицы спасу нет.

Я потому в деталях описываю это строительство, что на Хеле, как впоследствии выяснилось, нам пришлось подзадержаться и встретить конец войны.

Несколько слов о том, где был фронт и какие задачи стояли перед нашим подразделением.

Полуостров Хель — узкая, вытянутая километров на сорок дуга, окаймляющая Данцигскую бухту. Эта поросшая сосняком коса в самом широком месте имеет километра четыре, в самом узком — менее одного. На оконечности полуострова расположен порт Хель. Однажды мгlistой ночью нас переправили сюда на пароме из Пиллау. Дальше ходу не было. За Вислой стояли русские.

С винтовками и лопатами мы двинулись из Беренца, где были расквартированы санбат и резервный батальон легиона, в Кобленц, оттуда в Данциг; в пути нас нещадно накрывала русская авиация и артиллерия; мы рыли траншеи, копали канавы; и так весь март. Тяжелый, опасный и никчемный труд. Жертвы, понесенные ради «выпрямления» линии фронта, были напрасными (хотя наших погибло не много). Бывало, только воткнешь лопату в землю, а

на горизонте уже русские танки и пехота, бросаешь все и драпаешь дальше. Армия была деморализована. Куда ни глянь, все отступают, скопления людей, техники — удары русских по живой силе были обречены на успех: каждым снарядом убивало двоих-троих; не попасть в цель было немислимо. Ну да ладно об этом.

В стройбате насчитывалось около четырехсот человек. Видимо, был у него и номер, но мы себя именовали батальоном Ратниекса, по фамилии командира. Стояли лагерем в нескольких километрах от порта и в пяти-шести — от линии фронта. Она проходила по узкому перешейку, нейтральная полоса была густо минирована и обнесена колючей проволокой. Прорыв через такую зону мог стоить тысячи жизней, а война кончалась, и русские с начала апреля ограничивались бомбардировкой занятой противником части полуострова с воздуха и с моря. Потом им и это надоело. Под покровом ночи наши взводы, по очереди (человек тридцать), занимались укреплением окопов, днем мы дрыхли и рыскали вокруг в поисках пропитания. Особенно соль была на вес золота. Павших под бомбежкой лошадей прибирали немцы, но подчас и нам удавалось набрести на конский труп. Эх, соли бы... Морщась, жевали пресную конину. В сутки выдавалось по четыреста граммов хлеба с опилками... И еще мы целыми днями воевали с вошью. Помню, как-то, гуляя по лесу в рассуждении, чего бы стибрить на немецких кухнях, мы с моим приятелем Кристом наткнулись на двух фрицев, полоскавших в ведре белье. Осторожность, с какой они вынимали из ведра свое исподнее, нас поразила. Слегка отжав и встряхнув рубахи, немцы повесили их сушиться в тенечке на ветвях. Разазя меня гром, они приберегли про черный день горошок от насекомых! У нас с Кристом аж сердце екнуло. Хоть бы несколько дней без воши проклятой, хоть бы пару деньков!

Выманить у немцев ведро нам удалось без особого труда. Пока Крист затеял с ними свару, я подхватил драгоценную емкость и был таков. На бегу меня внезапно осенило — нельзя оставлять сорочки, пригодятся как-никак. Засунул их за гимнастерку, даром что влажные, и к своим. Вскоре и Крист объявился. Все наше отделение принялось за стирку. Возле деревьев, су-

живших сушилкой, выставили часовых, словно у склада с амуницией. Благодаря дезинфекционному средству борьба с вошью закончилась у нас на месяц раньше, чем война. Это средство действительно оказалось сильнодействующим: бывало, спишь рядом со швивым солдатом — и не чешешься.

О том, что происходит в мире, мы почти ничего не знали. Доходившие до нас, рядовых, обрывки каких-то сведений скорее были продуктом «солдатского телеграфа», просто сплетнями. Мне доводилось изредка встречаться с вестовыми, но и они от конкретных разговоров уходили. А жаль, так как скрывать от нас обстановку на фронте было и глупо, и не по-товарищески. Что войне скоро конец, знал каждый, поэтому апрельские батальонные торжества по случаю дня рождения Гитлера остались в памяти как сущий балаган. Нас выстроили во фронт, и немецкий офицер, поздравив всех «с праздником», развлекся о «новом оружии», которое не сегодня-завтра резко изменит ход войны в пользу Германии, о чем мы — солдаты стройбата — даже и не догадываемся... Никто в эту чушь не верил, но и смеяться в открытую было нельзя, так как перед глазами еще стояли недавние картинки, виденные под Данцигом: трупы повешенных на деревьях и телефонных столбах немецких солдат с куском фанеры или картона на груди... В Данциге, рядом с горщиком домом, раскачивалась на веревке немецкая «фронтотая подруга». Какой-то гад вздернул ей юбку и завязал мешком над головой... По окончании патриотической речи, когда мы, в ожидании обеда — куска вареной конины, бродили вокруг, прислушиваясь к урчанию в желудке, ко мне подошел один из наших и посоветовал пробраться ночью в порт, смешаться с немцами и сесть на корабль. Немцы едут сдаваться в плен. То ли в Данию, то ли в Голландию, а может, и в Швецию. В порт идти я отказался. Сам не знаю, то ли из-за того, что не хотелось бросать ребят, с которыми столько дорог пройдено вместе, то ли, может быть, и потому, что в глубине души я надеялся вскорости попасть домой. Мой собеседник как будто сник. Понятно, жалел о своей откровенности. Однако ночью пришел к нашей землянке, вызвал меня, и мы попрощались. В ту ночь я долго думал о нашей дальнейшей судьбе. Куда за-

бросит случай мобилизованного немцами рабочего парня? Без знания иностранных языков, без родных и знакомых на чужбине? Какая судьба ожидает остальных? Меня никогда не покидала надежда на возвращение домой, в Латвию. И все же... На всех нас эзэсовская форма, мы числимся подразделением СС, а эти части, как я слышал, подлежат первоочередной отправке за рубеж... Если немцы это сделают, родина отдалится еще больше... А что нас ждет дома, если мы когда-нибудь вернемся? Депортация сорок первого года — не такое уж далекое прошлое, а ведь тогда было мирное время и мы не носили еще эту форму... Теперь же пощады не жди, в этом нет никаких сомнений. И все-таки душа рвется домой; будь что будет, но если пробиваться, то по крайней мере на восток, в сторону Латвии. Сейчас мне все равно, как меня там встретят.

Беглец вернулся еще до рассвета. В порту полно жандармов. Схватят без документов — расстрел на месте, без суда и следствия. Немцы ломаются на стоящие в порту транспортные суда. Во тьме слышны ругань, стрельба, окрики жандармов... В общем, финиш. Отступать некуда. Кругом море, впереди фронт, в тылу бляхи и переполненные пароходы.

Под вечер ко мне заглянул ординарец комбата — напомнить, что сегодня наша очередь идти на передовую. Странно, ведь он уже сообщил об этом командиру взвода, при чем тут я?

— В нашем отделении есть парни, говорящие по-немецки, — сказал он. — Неплохо бы прислушаться, о чем балакают между собой немцы. — И как бы вскользь добавил: — Вчера, 1 мая, пал Берлин.

Так просто: пал Берлин... Значит, войне хана! Гитлер, наверное, смылся, или его повесили!

О том, что положение на фронте оставалось для нас за семью печатями, свидетельствовал мой вопрос: «В Берлин вошли англичане или американцы?»

Ординарец посмотрел на меня, как на психа.

— Русские, старина, большевики...

— А Курземе?

— Как сообщает немецкое верховное командование, в Курляндии происходят тяжелые оборонительные бои, — грустно улыбнулся вестник. — Сообщают, что в упорных оборонитель-

ных боях особо выделяется 19-я латвийская дивизия . . .

Я понял, что мы оба подумали об одном и том же: а что если еще не конец, вдруг произойдет чудо? . . . Какое-нибудь чудо . . . Какое чудо? В чем оно будет выражаться?

— Нынче ночью немцы дадут вам пулеметы. Теоретически вы направляетесь чинить окопы, но пулеметы вам дадут . . . — Ординарец глядел на меня так, словно прощался со мной навеки. — Свинство это. Под занавес . . . но будем надеяться на лучшее.

Он ушел, а я позвал ребят и все им выложил. Мы долго молчали, даже выматериться не было сил. Наконец заговорил наш неудачливый беглец:

— Может, айда к русским? Если нас принудят участвовать в наступлении . . . рванем, а? У меня в ранце белый флаг. Как, мужики?

«Мужики» молчали. Поднять лапки вверху . . . как труссы . . . в последние дни войны? Мол, мы с вами, мы сожалеем обо всем, простите нас! А за что мы должны просить прощения? Видно, не я один так думал. Двадцатилетние парни сидели понурившись. О чем размышляли? Я думал о доме, о братьях, сестрах, о девушке, которая меня ждет. Наверное, ждет. И еще я думал о том, что не стану просить прощения, ползая на коленях, вымаливать снисхождения. По-видимому, большинство считало так же, потому что один из парней прошептал едва слышно:

— Пусть каждый поступает как хочет. Теперь ведь у нас есть выбор . . . Ночью наш взвод выдвинулся на передовую. В ночь со 2 на 3 мая.

Передовая будто вымерла. В траве стрекотали кузнечики, с той стороны залива, из-под Пиллау, доносилась отдаленная артиллерийская канонада. Там еще сражалась небольшая окруженная русскими немецкая часть, которой командовал некий полубезумный полковник — кавалер Рыцарского креста. Первые и вторые линии окопов кишели немцами. Они переговаривались вполголоса, курили «в кулачок» папиросы. Когда вернулся наш комзвезда, картина прояснилась — немцы готовят наступление в полночь. Мы во втором эшелоне. Если с первого удара позиции русских смять не удастся, придется и нам вступить в дело. Потрясенные, мы молча сидели на дне траншеи. Какое-то сумасшествие — насту-

пать сейчас, когда Берлин уже капитулировал, когда в Европе война уже догорает! . . .

В ночной тиши где-то близко заиграла гармошка, слышались пьяные голоса. Кто пел, кто выкрикивал: «Гитлер капут! Берлин капут! Смерть немцам!» Песня ширилась и вдруг оборвалась. Там, в русских окопах, люди, охваченные безумной радостью, хрипло что-то орали, видать, ругали нас под покровом ночи последними словами. Потом взвились ракеты. Наверное, на той стороне все поголовно были вооружены ракетницами и палили что есть мочи. Разноцветные звезды таяли в небе, выбеляя тьму призрачным холодным светом, превращая ночь в день. Пожалуй, немцы не предвидели подобной вакханалии — наступление все не начиналось. Во мраке стыли в гулкой тишине немецкие позиции. А русские ликовали.

Ракеты все еще взвизывались в воздух и падали, петляя меж сосновых стволов. И тут у кого-то из немцев нервы не выдержали, и он плеснул по русским окопам трансирюющими пулеметными струями. На мгновение там все стихло, потом послышались стоны и на весь полуостров прогремел ядерный мат. И пошло! Заговорили русские минометы, пулеметы, немцы открыли ответный огонь, и вспыхнула такая кутерьма, которой здесь не было уже несколько недель. Отовсюду доносились взрывы. Скрипели деревья, стояли люди, темная весенняя ночь обернулась ужасным карнавалом, участники которого умирали один за другим . . . Бежали санитары, несли раненых, артиллерия с той и другой стороны безумолку покрывала пятачок политой кровью земли снарядами, растрачивая запасы, которые никогда бы не были пущены в ход. Канонада прекратилась так же внезапно, как началась, только дымные и теплые нити разрывов вились над головами. Русские больше не матерились и не пели. И ракеты больше не обжигали чернеющие стволы. Тишину нарушали только зовы раненых и в тех и в других окопах. Не знаю, сколько в эту idiotскую ночь было убито немцев, сколько русских, но немало, если судить по нескончаемому потоку раненых немцев, отправлявшихся в тыл. Ночной бой со 2 на 3 мая, а через несколько дней настал мир . . .

По счастливой случайности, среди на-

ших никого не убило и не ранило. В последней боине на этом дьявольском полуострове мы, тридцать латышских парней, чудом спаслись от косяковой.

Посвежело. С рассветом мы выбрались из засыпанных окопов и поплелись к себе, к товарищам, дожидавшим нас в землянках. Мы проспали целый день. Весь день нам снился этот сумасбродный ночной бой... Еще одно испытание позади, пролезли сквозь игольное ушко. А дальше? Что будет дальше?

На следующий день ко мне пришел вестовой. Присел на пенек и стал скручивать сигарку. Всем было известно, что он слушает в штабе радио вместе с офицерами. Он был единственным из солдат, кто знал последние новости о событиях в мире. Поэтому мы с нетерпением ждали, пока он не заклеит языком самокрутку. Вестовой сделал пару затяжек и, ни к кому в отдельности не обращаясь, а как бы разговаривая сам с собой, сказал: — Верховное командование всей армии взял на себя гросс-адмирал Дениц.

— Ах, значит, Адольфу каюк... — сказал кто-то. Мы разульбались. Слава богу, истаял еще один бредовый миф.

— С Адольфом ничего. — Вестовой изучающе разглядывал носки своих сапог. — А Дениц командует.

— Погоди ты! Давай все по порядку, иначе непонятно!

Но вестовой ничего больше не ведал, где уж там «по порядку»... Итак, Берлин капитулировал, но война в Европе продолжается. Командует Дениц. Немцы стремятся кратчайшим путем пробиться как можно западнее, поближе к англичанам и американцам, чтобы не попасть в плен к русским. Вот и все, что мы узнали.

— Черт подери! — слышится чей-то голос. — Большевики освежают нас, как зайцев. Кто тут станет разбираться, откуда ты, зачем и почему очутился на полуострове Хель, а не у себя в Латвии? Ведь так, старики?

Остальные, видно, думали так же, и яркое весеннее солнце над верхушками сосен, и щебетание весенних птиц были нам немилы.

— А что же наши офицеры? В последнее время их совсем не видно... Ни тебе вечерней поверки, ничего... Удивительно, как это мы без них справляемся и с варкой конины, и с утренней побудкой, без шума и гама... Где они теперь? — вопрошал Крумс.

Да, офицеров как ветром сдуло: Несомненно, исход войны был для них обозримее и яснее, чем нам. Они-то слушают радио, встречаются с немецкими коллегами... А нам ни слова!.. Это нам-то, с кем делили все тяготы отступления. До сих пор они во всем могли положиться на своих солдат. Пусть в ободранной форме, пусть без обычного блеска строевых занятий, но бравы ребятушки по-прежнему смотрелись молодцами. Четыреста парней как один стиснутый кулак. Готовы в любую минуту вступить за своих офицеров, защитить себя от немцев. Да-да, от немцев. Наша часть напоминает собой стаю голодных волков, близко не подходи. И немцы уже не раз имели случай в этом убедиться. Мы ценили то, что наши офицеры отстаивают наше единство, не позволяют раскидывать своих солдат по немецким частям, стоявшим на передовой. И германцы не осмеливались приближаться к нашему штабу. Знали, что получат по зубам, командиров мы в обиду не дадим... Дважды латышских офицеров пытались арестовать, но из этого ничего не вышло: наши роты мгновенно окружали немцев, и те отступали — численный перевес был на нашей стороне. Карательные же акции против непокорного батальона пришлось отложить по тому — фрицам и без того забот и бед хватало. Бог с ними, с латышами, которые, понимаете, не выполняют распоряжений, коле они им не по нраву.

И вот теперь офицеры засели в своих бункерах, перестав нас «пасти»... В тайных, полупрошпанных разговорах созрела отчаянная мысль — захватить силою какое-нибудь судно в Хельском порту и выйти в море. Но офицеры, кажется, не одобряют этот план — портовая жандармерия и отборная охрана вооружены всем, что еще оставалось у немцев на этой косе. Прорваться, может, и сумеем, но какой ценой?

Греясь на солнышке возле своих землянок, мы лениво судачили о том о сем, и только о доме — ни слова. Будто вышел приказ: о доме — молчок. Но такого приказа не было. Просто каждый из нас прятал в себе самое сокровенное, отсюда дом и родина казались краем света.

Вечером 8 мая небосвод над Хельским портом весь был расцвечен ракетами. Изредка доносились звуки очередей из «машинганов», и снова воцарялась тишина, только одинокие

звездочки взвивались в небо, словно детские забавы на Рождество. Со стороны фронта — могила, над передовой ни ракет, ни выстрелов, белесая майская ночь, окутав мягким бархатом сосны, дышит ровно и неслышно.

И вдруг, где-то после полуночи, все ожило: сигнальные ракеты взмывали в небо целыми гроздьями, короткие автоматные очереди чередовались с длинными, за линией фронта кричали «ура». Нет, не то гортанное «ура», с которым идут в атаку. То был дикий рев, подобный звериному рыку, — так рычит лев, долго томившийся в клетке и обретший наконец свободу. «Ура! ура!» — вопят русские, и я понимаю, что кончилась война.

Мы повывезали из своих землянок и, задрвав голову, глядели на розовеющие небеса. Треск выстрелов. Русские из окопов палят в небо, пальба слышна в порту, но там, ясное дело, идет бой между самими немцами — бой за места на отплывающих транспортах.

А у нас тихо, совсем тихо. Где-то рядом что-то бормочет во сне невидимая коняга, тяжело дышат стоящие возле меня ребята, и я знаю, что к этому общему тяжкому вздоху примешивается и мое неровное дыхание. О чем думают сейчас мои товарищи — о том же, что и я? Дом, мой безмятежно спящий домишко в Лиенае, мамаша, братья, сестры, с утра все просыпаются, на дворе мирная жизнь... Как мне хочется быть с ними! С ними, и ни с кем другим, в теплой, наполненной запахом родных людей комнате, спозаранку, когда твой старый дом стряхивает с себя ночной сон. Но тут из молочной темены выступает Крумс и вразяжку, усталым, как после адской работы, голосом сообщает нам, будто мы, олухи, сами ничего не смыслим: «Так, ребя. Войне... ец. Черт бы ее побрал!» Над Данцигской бухтой занимается заря. Ждем не дождемся утра. Что принесет оно нам, загнанным на чужой берег воинам, которые, не сражаясь за победу, потеряли все, кроме собственной жизни... пока.

Утро разгоралось медленно, в непривычной тиши. Молча сидели мы на усеянных капельками росы песчаных дюнах, поглядывая в сторону фронта, откуда вот-вот должны были показаться в полный рост, свободной походкою те, с кем до сих пор мы встречались только на поле боя, прятаясь с оружием в руках за малейшим укрытием, вы-

плескивая и выплевывая друг другу в лицо огненную смерть. Но над окопами застыло жаркое молчание. Вдруг по дороге, ведущей на передовую, проехал вездеход-амфибия, и в нем немецкие офицеры, один из них, стоя, держал привязанный к гибкому шесту белый флаг... Кусок белой материи развевался на ветру, и я подумал: откуда эта белая ткань? Простыня, сорванная с чей-то кровати? Распоротая и выглаженная наволочка? До сих пор в экипировке немецкой армии белых флагов не числилось, у Крумса, вот у того был один экземпляр в ранце, но он его и не думал доставать.

— Ситуация переменялась, — фыркнул Крумс, завидев амфибию. — Ежели немецкие офицеры хотят, пусть разъезжают под белыми флагами, я в их демонстрации не участвую. Мое полотно же сгодится на портянки...

Улеглась дорожная пыль, и снова все вокруг погрузилось в солнечную майскую тишину... Но бойцы остаются бойцами. Что с того, если закончилась самая жестокая на свете мировая война, солдатам все одно жрать охота.

— Мне не верится, — сказал Фредис, — что начиная с сегодняшнего дня о нашем пропитании будут заботиться русские. У них, пожалуй, другие радости...

Крумс, крестьянский сын из-под Лимбажи, поднялся с места и окинул нас будничным, спокойным взглядом.

— Схожу в разведку. Фрицы нам теперь не господа. Поглядим, где у них что припрятано, а там посмотрим. — И он скрылся в кустах.

Чем обернется для нас день мира, что нам предстоит, этого не знал никто. Мы ожидали всякого, но то, что случилось, было настолько неожиданным и невероятным... Впрочем, лучше я расскажу по порядку.

Не успела исчезнуть за горизонтом немецкая амфибия с белым флагом и уйти в разведку Крумс, как меж сосен замелькала фигура вестового.

— Всем собраться у штаба батальона. Мигом!

— С вещами? — крикнул кто-то, но вестовой только рукой махнул и побежал дальше. Решили ранцы и винтовки с собой не брать. Стурманиса (у него вскопчил в паху огромный фурункул) мы оставили стеречь вещи, а сами пошли по направлению к штабу. По дороге повстречали ребят из других рот, у всех на лицах бы-

ло написано недоумение. Возле штабных бункеров солдаты утапывали песок, строясь поротно и повзводно. Не слышно было привычных инструкторских команд. Все совершалось как бы само собой, молча, без слов. Когда все четыре роты встали в строй, из землянки комбата вышел старший сержант первой роты Крампис — невысокий, вечно улыбающийся крепыш с тихим голосом. Было такое впечатление, что в должности заместителя офицера он чувствует себя скованно.

Став в центре песчаного «плаца», он обвел взглядом все четыре роты и заговорил домашним, извиняющимся тенорком, будто приглашал к завтраку. Но каждое его слово было отчетливо слышно. И мы не поверили своим ушам...

— Садитесь-ка, ребята.

Мы стояли навтыжку.

— Садитесь, садитесь. Война кончилась. То, что мы остались живы, вот уж не знаю... увидим в самое ближайшее время. Садитесь.

Но парни, застыв в четком строю, ели глазами старшего сержанта. Где наши офицеры? Почему не подаются команды? Почему с нами говорят как с людьми, тем давно забытым тоном, каким говорили с нами до начала этого жуткого кавардака, когда мы еще не облачились в военную форму...

Как бы поощряя нас, Крампис уселся на землю. Поджал по-турецки ноги, снял фуражку, пристроил ее рядом с собой на песке и, еще раз окинув грустным взглядом четыре неподвижно застывшие роты, скривился в улыбке: — Подходите поближе, господа, и садитесь. Есть серьезный разговор.

Чудное ощущение отсутствия офицеров в момент этого необычного построения все не проходило. Словно бы угадав наши мысли, Крампис произнес:

— Офицеров у нас больше нет. Они ушли этой ночью. На последнем пароходе для всех места, видно, не хватило...

Эти немислимые слова током пронзили тихий, по-весеннему живительный воздух.

Ушли... Ночью, втихомолку! Со мной стряслось нечто совсем странное, вроде припадка озарения: только сейчас, услышав весть о незаметном бегстве офицеров, я отчетливо, до дна осознал — война окончилась, и чудовищная пустота легла на плечи. Я огляделся украдкой. Вокруг меня, смущенные и как бы пристыженные, стояли бойцы, которых никто не посмел бы назвать малодушными трусами. Многоопытные мужчины и молодые ребята опустили головы, чувство позора и унижения воцарилось среди нас. Как волглый туман, как свинцовая туча, давящая на грудь, прерывающее дыхание... Еще и сегодня, спустя тридцать шесть лет, я пишу эти строки с невольной оглядкой — не заметил ли кто ненароком краски стыда на моем лице. А казалось, все давно забыто, стерлось из памяти... Ан нет. Мне часто приходилось краснеть за других, но все это было детской игрой в сравнении с тем постыдным майским утром тридцать шесть лет назад.

Крампис дал нам время справиться со своими мыслями и переживаниями. Наподобие Будды восседал он посреди площади, образованной батальонным каре, и на лице его застыла та же гримаса — ему было стыдно за офицеров и неудобно перед нами.

— Ну что, братва, — заговорил он вновь отеческим тоном. — Хотя в ближайшее время райские кущи нас не ждут, не худо бы подумать о будущем. Одна голова хорошо, а много — лучше. Присаживайтесь!

Строй нарушился. Бойцы уселись в кружок, по-прежнему не сводя глаз со старшего сержанта.

— До сих пор мы получали продукты от немцев. Отныне получать не у кого. Немцам мы больше не нужны. Что случится в ближайшие часы, никто не знает. Будь с нами кто из офицеров, можно было бы порасспросить немцев. Со мной никто в разговоры пускаться не станет. Поэтому у меня такое предложение. Насколько мне известно, в Хельском порту находятся продовольственные склады. Если их еще не разграбили, значит, немцы держат их под охраной и в своем дурацком педантизме сдадут все продукты русским по реестру и весу. Значит, нужны пять-шесть разведчиков-добровольцев, чтобы уяснить ситуацию на месте. С ними пойду я. Если будет надо, постреляем, но без продуктов нам хана. Скоро завяжутся русские... — Крампис криво усмехнулся. — Они не станут угощать нас пирожными, да и немцы от своих запасов не отваяют. Словом, другого пути нет — пропитание мы должны добыть сами. Кто пойдет со мной?

Охотников было много, я с замиранием сердца ждал, чтобы Крампис

остановил свой взгляд и на мне. Попав в число отобранных старшим сержантом парней, я до смерти обрадовался, сам не знаю чему. То ли отчаянно хотелось после нудной лесной жизни увидеть людей, то ли вообще на белый свет поглядеть? Нет, я знал, что мы отправляемся на довольно опасное задание, и ни о чем таком не думал. В те далекие дни я на все смотрел совсем другими глазами...

— И вот еще что, — решив вопрос с разведкой, продолжал Крампис. — Эта канитель, я имею в виду войну, кончилась, но только первое действие. Те, кто остался в живых, могут считать, что в первом действии им повезло. Что касается второй, финальной части, то здесь темень почище, чем у негра в заднице. Ни бог, ни черт не знает, что с нами будет дальше, а потому... — Крампис сделал паузу и внимательно посмотрел на столпившихся вокруг него бойцов, — а потому, ребята, план у меня такой: командиров у нас больше нету, война удачно проиграна, следственно, впредь каждый сам себе господин и повелитель. Кто желает, может удалиться сей момент, а не то и позже. Каждый волен поступать как знает. Если найдутся желающие и дальше быть вместе, милости просим, я с вами. Моя цель ясна и недвусмысленна — в кратчайший срок добраться до Латвии. Чем больше окажется желающих подчинить себя этой цели, тем скорее мы ее достигнем, по-моему. Никаких таких военных счетов-учетов, но элементарного порядка я потребую. Это чтобы вольные птицы не разбрелись бог знает куда. Я полагаю, что те, кто намерен прорываться домой, сохраняют предусмотренную уставом субординацию: отделения, взводы, роты, батальон. Так мы сможем помочь друг другу в трудную минуту, сможем защитить себя, а в эти дни, я думаю, оружие нам понадобится не раз. Словом, кто остается — тот остается. Кто уходит — прошу. Я не считаю, что мое предложение самое удачное, не исключено, что кое-кому в одиночку удастся пробиться домой скорее. Счастливого пути, ребята!

Крампис встал, размял затекшие ноги и нахлобучил на голову фуражку.

Добровольцы-разведчики собрались у остывшего кухонного котла, выкурили по сигарете и, потолковав, решили, что пускаться в путь поодиночке было бы безумием; перемыли косточки и Крам-

пису — вот тебе и «лыбистая деревенщина из Сламстов»... Что бы мы без него делали... А офицерье сволота, тут мнение было единодушное. Хотело начальство смазать пятки, так ради бога, придурокшных нема, но могли бы предупредить — так, мол, и так. А втихаря, бросить нас одних... Как это называется?

К Хельскому порту лепился небольшой городок. Когда нас доставили сюда на пароме из-под Пиллау, стояла глухая ночь, и обзор городишка не состоялся. Теперь он предстал перед нами, как только мы вышли из лесу. Ничего примечательного — на улицах полно военных, что-то несут, тащат, волокут или сидят кружком и покуривают. Продовольственного склада нигде не видать. Спросить тоже не спросишь. Побрели мы в сторону порта, так, на всякий случай... И набрели на огромный пустырь, где стояли за оградой из колючей проволоки длинные низкие деревянные бараки. У ворот с надписью «Вход запрещен» застыли часовые. Было понятно без слов: вход — в заборе. Не окажется дыры, продедаем. Пошли вдоль забора. Строений было несколько, каждое несколько сот метров в длину. Идем и гадаем — что припрятано в этих бараках? Вдруг слышим — стреляют. Это в дальнем конце ограды. Да, немцы тоже не дурнее нас. На том конце, ишь, уже грабят, а мы что? Не ожидая дальнейшего разворота событий, тут же стали срывать прикладами с деревянных столбов колючую проволоку. У заветного барака двое часовых — молодые солдаты с автоматами на груди. Ох, эта хваленая немецкая педантичность.

— Хальт! — раздался окрик. — Стой!

Но мы уже бросились ко входу. О чем я думал в это мгновенье? А ни о чем. Видел перед собой двух фрицев, которые ежесекундно могли открыть по нам стрельбу, и бежал прямо на них. Над головой прожужжала автоматная очередь. Следующая взрыхла землю прямо у меня под ногами... Дудки, мы уже в дверях. Короткая схватка, и немцы обезоружены. Они вопят и пытаются нам втолковать, что их-де убьют, если мы взломаем склад. Пока что это они пытались нас убить, падлы, — ломай двери!.. То, что мы узрели, распахнув двери, превзошло все ожидания: груды мешков с мукой,

на полках — упакованные в целлофан буханки кисло-сладкого хлеба, жестяные консервные банки, банки с мармеладом, коробки сигар, сигареты . . . и бог знает что еще. Старший сержант Крампис послал двоих за подмогой.

— Живо! — рявкнул он. — Ребят сюда! А мы пока будем отстреливаться от немцев. Скоро они нагрянут.

Расположились так, чтобы при появлении немцев у склада встретить их сильным огнем. Я занял позицию у зарешеченного окна. Мысли понемногу прояснились, дыхание успокоилось. Что теперь? Что мы делаем? Грабители, мародеры . . . Если нас возьмут, расстреляют на месте, вон у той серой барачной стены . . . Сегодня нельзя иначе, утешал я себя, хватаясь за эту мысль, как за соломинку. Это мой долг перед товарищами, и они на моем месте поступили бы так же. Мир рухнет ко всем чертям, и хорошо, что наши ребята держатся скопом, что мы и дальше будем вместе, а значит, продовольствие для нас сейчас самое главное. И еще разные мысли шевелились в мозгу — не напрасная ли это авантюра? Через час, максимум через два заявятся русские и так или иначе все отберут. А может, и не отберут, просто прошьют нас очередями — и прощай жизнь-житуха . . .

В проделанном нами отверстии в заборе оказалась группа вооруженных немцев, человек пятнадцать. Едва они приблизились к складу, Крампис дал очередь из отнятого у часового автомата. Немцы попадали в синеватую полевицу, которой поросли окрестные дюны, и стали отползать вбок от дверей нашего барака. Крампис больше не стрелял. Видно, и до него дошло, что это такие же «добытки съестного», как и мы. Пусть пощут другой вход . . .

Время тянулось изнуряюще медленно. Эти фрицы были первыми, но за ними последуют другие, и тогда тут такое начнется . . . Скорей бы пришли ребята! Вскоре возле дыры в ограде показалась крытая немецкая функ-машина (передвижная радиостанция). Мы слегка удивились, но тут рассланулись дверцы шоферской кабины и оттуда нам помахали рукой. Наши! Но почему на функе? Где они ее раздобыли? Пока мы раздумывали над этим, машина уже подъехала к дверям. Из крытого кузова повыскакивало человек двадцать с ружьями. Короткая, вздох, информация: по дороге отняли у немцев ма-

шину, выкинули вон всю радиоаппаратуру, чтобы поместилось как можно больше груза . . . Впоследствии, перебирая в памяти эпизоды этого налета, я испытал неведомое прежде чувство: ломать в специальной машине радиостанцию . . . загружать консервы, искусственный мед, курево . . . как меняется на войне обычный здравый смысл, как искажаются представления о вещах, о людях. Но все это было потом. А сейчас мы сволокли в автомашину продукты, набив ее до отказа. В сопровождении нескольких парней машина уехала в лес, в наш лагерь, чтобы вскорости вернуться за новым грузом.

Нашего полку прибыло, ребята шныряли по складу теперь уже в поисках чего-нибудь особенного, отбирая продукт, припасенный здесь до лучших времен. Кто-то наткнулся на солидный запасец шнапса. Большие бутылки с цветными этикетками. До сих пор почему-то помню эти наклейки: типичный немецкий егерь — в зеленом мундире и в охотничьей шляпе с петушиным пером сбоку — курит длинную трубку с металлической крышкой. Знаменитый «егершнапс» . . . Куда девать бутылки? Крампис, поразмыслив, распорядился так: «Суньте по одной в карман, а ящики пускай стоят. В машине места хватит только для еды, и к тому же сейчас не время напиваться . . .»

Вышла у нас и основательная перестрелка с довольно крупной группой немцев, пытавшихся ворваться на склад. Но те вскоре усеки, что малость опоздали, и убрались восвояси. Наша машина сделала пять или шесть ездов, и на том все кончилось. Немцы, хозяйничавшие на другой половине склада, сломали тонкую перегородку и смешались с нашими. Некоторые фрицы уже были под хмельком. Они горлачили что-то, опасно косясь между тем на наши значки. Действовали они по принципу «каждый за себя». А под мышкой много ли унесешь . . . С последним рейсом мы отправили еще курева, несколько буханок хлеба и пошли на соединение со своими. Солдаты сновали вокруг складов, как муравьи . . . По дороге нам то и дело попадались разодранные мучные мешки, целехонькие консервные банки, даже бутылки, повсюду валялись обрывки бумаги. Но хотя на складе спиртного было залеяся, пьяные встречались лишь изредка.

«Снабженческая операция» завершилась ближе к вечеру. Вернувшись в

лагерь, мы перво-наперво спросили, не случилось ли что-нибудь за время нашего отсутствия. Случилось. Офицеры вернулись!.. Я никогда не сумею объяснить, откуда возникает во мне это чувство стыда за других... В ту пору эмоции и разные психологические экскурсии были не в моде, и все же... Я как бы проникался бедой этих людей, их ощущением неловкости, предательства, чувством отверженности... Как они посмотрят бойцам в глаза? Я меньше всего винил их за выбор пути. Только... это надо было сделать как-то иначе. Есть тысячи вариантов того, как взрослые, зрелые, образованные мужи могли нас пристойно покинуть. Только один вариант я не приемлю ни умом, ни сердцем — бегство.

Началось распределение добычи всему батальону. Хлеб, консервы, сахар, искусственный мед, сигареты и сигары. Муку и прочие сыпучие продукты, которые никак нельзя было поделить, оставили в машине под присмотром повара. Товар распределяли на всех поровну. Разногласия вышли с куревом. Курящим казалось, что оно полагается только им, но свою долю затребовали и некурящие. Это положило начало несогласию и отчужденности между нами. Спорили яростно, по пустякам больше всего и ругались. В конце концов порешили на том, что те некурящие, кто захочет получить сигареты, их получат. Остальные — как хотят. В итоге курево заимели все. Офицерам выделили их долю и отрядили ординарцев снести положенные порции в офицерский бункер, поскольку они из него носа не казали.

Когда стемнело, несколько вооруженных парней отправились на машине за бензином. Мне это представлялось смешным и нелепым развлечением — искать бензин для автомашины, которую первые же русские у нас конфискуют... Но вышло все иначе.

Следующий день выдался солнечным и — необычным. Поражала воцарившаяся окрест тишина — нигде не стреляли (за исключением Пиллау, откуда доносилась глухая артиллерийская канонада), самолеты не летали, команд не было слышно... Одной лишь тревогой полнилась вся округа и наши измученные души. Парни готовили на кострах завтрак. Вился дымок, вполголоса переговаривались люди. Нет большого рота и взводов — есть кружки единомышленников. Они едят из общего

котла, делают пищу и бог весть откуда раздобытой красноватой солью. Никогда прежде (и потом тоже) я такой соли не видывал. Попадают среди нас и отшельники. Сидят себе в одиночестве у костерка и о чем-то думают. Один из таких мыслителей, Стурманис, человек в летах, каждому встречному-поперечному, злобно ухмыляясь, твердит одно и то же: «Кончилось ваше времечко. Теперь другая жизнь пойдет, проклятые...» В наступлении другой жизни никто не сомневается, но о каком времени толкует Стурманис? Что — кончилось? Время рытья галейнов? Время сооружения землянок? Полуголодного существования? Тоски по дому? Никкак я не мог взять в толк речи этого человека. С детства меня воспитывали в любви к моей родине, Латвии, за мной была история моего народа, сколько уж я ее знал... Много мне тогда еще казалось чуждым, представления мои были смутны. Я и теперь не уверен, что сильно поумнел. Старше стал, разумнее — это да, с каждым прожитым годом, размышляю о былом, все тверже знаю, что вот это люблю и защищаю, а то — ненавижу и отвергаю. И все же... по прошествии лет я скорее всего вновь окажусь на пороге раздумий, со всеми своими надеждами, убеждениями и разочарованиями.

Все чаще там и сям вспыхивали в расположении нашего батальона одни и те же речи — вскоре придут о н и. И что дальше? Спросить не у кого. Никто рассказать не в силах. В утешениях мы не нуждаемся.

О н и появились в обед. За соснами проехал по шоссе невиданный грузовик с бойцами. Миг — и скрылся за поворотом. Я успел только заметить, что машина странная и щитки от грязи непонятно какие. А в кузове солдаты с автоматами на груди. Миг это длилось. Машина умчалась в сторону порта. За ней еще одна и еще, а потом черные лимузины с красными флажками. Такие лимузины были мне знакомы. В первый раз я видел их в Лиелпае в июле 1940 года. Впоследствии они не однажды попадались мне на обочинах военных дорог — заржавленные и разбитые. А ныне здесь.

Между землянками повисла тишина. Что я чувствовал в эту минуту? О чем думал? О нет, то был не страх. Леденящая пустота свернулась во мне клубком. Долгожданное настало, и то

бел мир. Мир победителям. Мир побежденным. В эту минуту нестерпимо и больно было сознавать, что ты и не победитель, и не побежденный. Эти думы терзали меня и прежде, но теперь вся трагедия моего, да-да, моего положения представилась мне с ужасающей отчетливостью. Мысли о наших ребятах, о доме, о Латвии отошли на второй план. Кровавое пролитие, руины, павшие — все, все было, и вот ты не победитель и не побежденный... В те мгновения до меня еще не доходило, что победителей не судят... Это я увижу своими глазами и испытаю на собственной шкуре потом, когда события вразумят меня, что я был неправ в своих рассуждениях солнечным полднем на полуострове Хель, полагая себя не победителем и не побежденным... Дальнейшее — дни, месяцы, годы — показали, что я все же из числа побежденных, а победителей не судят...

Час-другой спустя я увидел, как кое-кто из наших парней, сидя на солнышке в одной рубашке и положив на колени гимнастерку, отпаривает эсэсовские значки... натирает воротнички мокрым песком, пытается уничтожить самый след этих знаков различия... Другие предлагали выйти на шоссе — поглядеть, как «медведи» выглядят вблизи. Судили-рядили, а пошел, как всегда, Крумс. Вернулся он с выпученными глазами (он вечно выкатывал шары, собираясь травить одну из своих бесчисленных охотничьих баек): «Ну что сказать, вот этикие малвяки. Как они победили, не пойму... Но все с автоматами. Стрелять не стреляют, ходят нахохлившись. Выиграли войну, а на победителей не похожи...»

Вскоре мы увидели русских воочию. Я сидел на пенке, делая табачные гильзы. Русских было трое, и впрямь с автоматами, в выцветших, с пятнами пота, гимнастерках. Пилотки надвинуты до бровей, линялые и замызганные брюки вроде галифе. Ноги обернуты портянками, а у одного из солдат блестящие немецкие офицерские хромо-вые сапоги, входящие ему почти до колен. На груди боевые значки и красные и желтые планки. Что-то говорят, но из наших никто по-русски не понимает. Тут один из этой троицы, с тремя красными нашивками на погонах, верно сержант, и говорит: «Официр!» Вокруг русских толпятся наши. Мы молча разглядываем этих бритоголо-

вых бойцов, звенящие на груди знаки воинской доблести, нахмуренные в сознании собственного превосходства, недоверчивые лица и не произносим ни слова.

Наконец является Крампис. Он немного понимает по-русски, для беседы достаточно. Крампис прикладывает руку к козырьку, но прищельцы на приветствие не реагируют.

Было так — русские говорили, Крампис и отвечал и переводил. О чем беседовали, в деталях не помню, но какие-то обрывки в памяти сохранились. Тот парень, с тремя полосами на погонах, сказал:

— Гитлер капут! Берлин капут!

Это было понятно и без перевода.

Приметив у Крамписа в кобуре пистолет, сержант знаками показал, что пистолет он берет себе. Крампис свою «пушку» отдал, но когда сержант показал пальцем и на часы, усмехнулся и сунул руку в карман.

— Фашист! — сказал сержант и, стиснув зубы, ткнул в левый рукав, где у всех латышских легионеров красовался маленький, примерно со спичечный коробок, знак в форме щита. Красно-бело-красный щит с надписью «Латвия». Русский говорил, Крампис переводил: «Гады... Видал я ваших в Курляндии. Фашистские прихвостни... Сколько вы наших поубивали!.. А теперь досюда добрались. Чего вам тут надо?»

Крампис переводил и отвечал: «Ми латиши. Ми тут роём траншеи. А ви что? Ви что тут хотите?»

— Проверяем, как идет сдача оружия. До двенадцати часов ночи по московскому времени все оружие должно быть сдано. Включая боеприпасы. Мы заберем документацию вашей части. Это все.

Официальная часть беседы закончилась. Сержант достал из кармана гимнастерки сложенную гармошкой газету, оторвал небольшой прямоугольничек. Пошарив в карманах, вынул щепотку махорки и скрутил сигарку. Я впервые увидел такие самокрутки летом сорокового года, еще мальчишкой, все надивиться не мог...

Крампис щелкнул крышечку портсигара и предложил гостям сигареты. Сержант отказался, а его спутники угостились. Сделав пару затяжек, русские ощупали нас пристальным, подробным взглядом.

— Всех вас расстрелять надо, — сказал сержант. — Всех до единого!

Мы молчали. Один из солдат снял с плеча брезентовый вещмешок и достал банку американской тушенки. И показал на часы Крумса. Словом — обмен. Крумс взял банку, повертел в пальцах, попробовал прочесть название, но, не зная английского, произнес по-латышски: «Мадэ ин УСА». Банку он вернул русскому. Не скажу, чтобы тот обиделся. Сунул тушенку назад в мешок, и все. Потом все трое вместе с Крамписом пошли к штабному бункеру нашего батальона.

Когда они скрылись за дальними соснами, кто-то из ребят нарушил затянувшуюся тишину:

— Он сказал — надо расстрелять. Значит — расстреляют . . .

И хотя в этой ситуации можно было ждать самого худшего, ответом ему был дикий рёгот. Парни корчились от хохота.

— Тогда русским придется построить новую пороховую фабрику, — кто-то зашелся смехом. Смейся, паяц . . . — Перестрелять сейчас всех . . . да на это уйдет целый месяц . . .

Ржанье оборвалось так же внезапно, как и возникло. Парни разбрелись кто куда. Какое-то напряжение висело в воздухе, чувствовалось и в солнечном свете, и в аромате сосновой смолы . . . Я пытался отвлечься, переключиться в мыслях на что-то другое, но странное напряжение не спадало. Оно давило и жгло. Оно ощущалось на каждом шагу, проникало подспудно в каждую мысль — что теперь будет? То был не страх смерти, а нечто совсем-совсем иное . . .

Крампис и русская делегация, прибывшая на переговоры о нашей капитуляции, очень скоро покинули штабное помещение. Уходя, русские смотрели на нас больше с любопытством и недоумением, чем со злобой.

Как выяснилось потом, наши офицеры ни в какие переговоры с этой делегацией не вступали. Затребовали, чтобы при передаче батальонной документации присутствовал кто-нибудь из русских офицеров. Не припомню сейчас, состоялась ли вообще эта церемония или нет . . .

Мы сидели кучками и по большей части молчали. Все ждали развития событий. Представить себе, что случится через час или день, было, как ни старайся, невозможно, поэтому говорить

не о чем, и молчание делалось невыносимым. Чтобы скоротать время, я вышел сосняком ближе к шоссе. Непрерывным потоком в обоих направлениях шли автомашины. Над немецкими полоскались белые флаги. Этим они и отличались от русских машин, большей частью отобранных у тех же немцев. Проехало и несколько «бобиков» — американских армейских легковушек с открытым верхом, четырехместных, защитного цвета. Сновали туда-сюда и непривычные глазу грузовики — это были, как я узнал впоследствии, американские «студебеккеры». Больше всего меня поразило отсутствие русских автомобилей (и в последующие дни они так и не появились на дороге). Да, небольшая деталь — почти у каждой немецкой автомашины было прострелено лобовое стекло, делалось это для того, чтобы создать впечатление, что она только что вышла из-под обстрела противника. Один, два, три следа от пуль, расходящиеся лучами трещинки. Вдруг пошла такая мода, нередки шоферы сами простреливали ветровые стекла. У русских — та же картина . . . Поди знай, кто у кого эту моду перенял . . . А может, и не перенял. И для той, и для другой стороны война была полна всяческих ужасов и неожиданностей. Почему бы и русским и немцам этот трюк не мог прийти в голову одновременно или же с одной и той же целью.

Вскоре я был вынужден смириться с обочины шоссе. Едва русские замечали немцев, идущих поодиночке или вдвоем, их тотчас задерживали и устраивали дотопный шумон. Первым долгом отнимали часы, авторучки (эти предметы русским особенно нравились), бумажки. Денег не брали. Их просто выбрасывали вместе с документами в дорожную пыль. И теплый весенний ветерок гнал по шоссе целые тучи баннот и семейных фотографий . . .

На обратном пути я встретил группу солдат в немецкой форме со значками на рукавах — щиты с надписью «Georgia». Все как на подбор смуглые и черноволосые. Много позже я узнал, что это были грузины. Они о чем-то спорили на своем по-южному темпераментном наречии, никакого единодушия между ними, пожалуй, не ожидалось.

И вот настал первый вечер первого мирного дня. На южной оконечности полуострова, где были русские окопы,

непрерывно трещали автоматы. Воздух пронзали очереди трассирующих пуль, взвивались многокрасочные ракеты — десятками, сотнями... И в порту, занятом теперь русскими частями, ракеты с характерным хлопком взмывали к темному небосводу, проливая на людей и деревья неживой синевато-красный свет. Один из наших разыскал и починил выброшенный днем из немецкой функ-машины радиоприемник. Немецкой речи почти что не было слышно. Зато остальной мир ликовал. Выступала с речью, если мне не изменяет память, английская королева. Очкарик Оренбург кое-что нам перевел. Он в детстве жил в Америке и английским владел, как родным. Да, мир ликовал. Жуткая война окончена, и для нас тоже... Потом будет Нюрнбергский процесс, потом мы узнаем о концлагерях, понастроенных по всей Европе, узнаем обо всем, что случилось в годы войны — ужасном и бесчеловечном... В тот вечер мы всего этого не знали, и слава Богу. И так уже эта развязанная другими народами война втянула нас в свой водоворот и забросила на чужбину. Вдали от дома, вдали от родных и близких, во власти пугающего неведения. В моей жизни было немало трудных минут. Одна из них — ночь с 9 на 10 мая.

Наутро мы сложили оружие. Теперь, спустя много лет, в кино показывают обычно, как солдаты капитулировавшего войска, выстроившись в длинную очередь, собственноручно бросают наземь винтовки, автоматы, пистолеты, и гора оружия все растет и растет, а побежденные все подходят и подходят... У нас все было гораздо прозаичнее. После завтрака Крампис оповестил через вестовых, что с этого момента ношение оружия запрещено. Неподалеку от длинной, вырытой под нужник ямы была небольшая площадка. Кто-то первым кинул туда ружье и патронташ, и через какое-то время на песке уже валялись как попало кучи винтовок, патронташей, штыков, револьверов. Никто сдачу оружия не контролировал. Вскоре мы покинули полуостров навсегда, а наше оружие так и осталось лежать в дюнах — никем не сосчитанное, незарегистрированное, непроверенное. Бросил в общую кучу свою винтовку и я. Она скользнула со звяканьем по цевьям и дулам, скапала в песок, и я почувствовал, что какой-то этап моей жизни прожит, чер-

та подведена. С каждым днем я все меньше и меньше буду задумываться об этих ушедших в небытие годах, ибо теперь — теперь начнется новая жизнь. Незвестная, но непременно другая... Боже, каким же наивным я был в свои двадцать лет! А может быть, это и хорошо, что в то солнечное майское утро я еще не знал, какая жизнь ожидает на самом деле меня и моих товарищей в ближайшие годы.

На следующий день мы поняли, что отношения между нами и немцами стали изменяться. До сих пор это мы с ненавистью и завистью наблюдали за тем, как немцы готовят себе еду, заполняя ароматом пищи весь полуостров. Теперь похлебка кипела в наших котлах. Если раньше кто-нибудь из наших осмеливался не поприветствовать старшего по воинскому званию немца, жди неприятностей. Правда, в пустынном месте подобный конфликт исчерпывался сравнительно просто — коли немец в гордыне своей привязывался и настырно требовал предъявить документы, мы, рискуя смертной казнью, давали ему по морде и спасались с места происшествия бегством. Возле своих землянок мы были в полной безопасности — наши офицеры нас не выдавали, а в ответ на упорные требования немецкого патруля бравы ребятушки щелкали затворами, и фрицы убирались несолоно хлебавши. Так было еще несколько дней назад. Теперь все переменялось — от хваленой прусской дисциплины не осталось и следа. Громяхая котелками, немецкие солдаты подходили на правах попрошайек к нашей кухне, и мы отдавали им объедки «с господского стола». Немецких офицеров никто больше не приветствовал, несмотря на то, что и после сдачи оружия им было временно разрешено иметь при себе пистолеты. Пистолеты были и у наших офицеров, но они, по-видимому, или держали их в карманах, или вообще не носили при себе. С нашими офицерами отношения у нас как будто наладились — при встрече солдаты отдавали им воинскую честь и всем своим поведением демонстрировали, что все прощено и забыто и по крайней мере сейчас надо держаться вместе; однако на лицах офицеров часто еще было написано сознание своей вины.

Жизнь понемногу входила в обычную колею. Разве что по утрам и перед отходом ко сну не было больше при-

вычных проверок, но тем не менее всякий раз, когда предстояло оповестить всех о новейших распоряжениях, подразделение строилось и парни выслушивали повеления с самым серьезным видом и глубоким вниманием. За эти годы бойцы привыкли к приказам, привыкли к совместным действиям, и теперь, когда для воли вольной и всяческого хаоса все двери были нараспашку, даже заядлые ворчуньи смиренно стояли в строю и были готовы выполнить любой приказ.

На полуострове все чаще и чаще появлялись русские, хотя здесь и так было негде яблоку упасть. Пока никаких стычек не наблюдалось. Над штабами немецких подразделений один за другим взвивались белые флаги. Нередко их вывешивали и над кухнями, и наши со смешком замечали, что этих знаков капитуляции не хватает только над уборными. . . . Как все переменялось! Куда только подевалось германское зазнайство, сознание превосходства. Теперь немцы становились всеобщим посмешищем, вывешивая едва ли не на каждом крюке белую тряпку и прикрываясь ею как щитом. Бродя по лесу, я наткнулся как-то на русского солдата — сорвав с оглобли белый флаг, он разодрал его на две продолговатые портянки, разулся и обмотал ими ноги.

На очередном дневном построении батальона офицеры сообщили нам, что тем, кто не сложит оружие, грозит смертная казнь. Практически это был первый послевоенный приказ. Оружие у нас давно уже не было, и все-таки тон приказа был не из приятных. Еще одна интересная деталь: о нашем пропитании никто больше не заботился. Только сейчас выяснилась вся предсудительность нашего пиратского нападения на немецкие склады. Повар сэкономил буквально на всем, поэтому наш рацион был довольно скудным. Привожу по памяти: на завтрак чай с сахарином, сушеный хлебец, столовая ложка мармелада. . . пожалуй, это все. В обед гороховое пюре, скорее супчик, к нему ничего. На ужин буханка хлеба на девятых, то есть граммов 150—200 на человека, столовая ложка мармелада или искусственного меда. Все. Справедливости ради надо сказать, что помимо «частных» запасов у каждого бойца в сумке было еще несколько банок мясных консервов, буханка (примерно 1,5 кг) хлеба и разные пустяки: искусственный сырный порошок, пачка

маргарина. . . все это про черный день. У кухни круглые сутки стояли на посту часовые; несмотря на угрозу смертной казни, каждому часовому — поспенно — выдавался пистолет. Немцы так и шныряли в поисках съестного, особенно по ночам. Правда, до стрельбы не доходило, но однажды ночью вышла изрядная драка с довольно большой группой немцев, хотевших завладеть нашим складом на колесах — функ-машиной.

Так прошло несколько дней, и как гром с ясного неба прозвучал приказ: готовимся к переходу! Всё свое несем с собой! Упаковаться! Возле функ-машин и кухни выставить охрану — один из взводов первой роты.

Начались сборы в дорогу. На них отводилось два часа, а мы были натренированы на десятиминутную подготовку. Попытаюсь вспомнить, какие вещи мне довелось запаковать в ранец телячей кожи в те минуты. До похода я был экипирован примерно следующим образом: ранец, два фланелевых одеяла, треугольная плащ-палатка, шинель, запасной комплект белья, уже упомянутое довольствие, котелок, фляга, сумка для хлеба (противогазы мы давно уже выкинули. В жестяный футляр из-под противогаза я обычно клал всякую мелочь. Теперь я выкинул и этот футляр). Еще у меня в ранце лежала пара исписанных общих тетрадей: в пределах возможности я вел дневник. Бритвенные принадлежности, сигареты и табак. Небольшая пачка писем и фотографий, две пары портянок, пара стопаных носков, два куска похожего на глиняный катыш мыла, незаправленная авторучка, несколько карандашей, перочинный нож, бутылка водки и что еще? Верно, какая-нибудь мелочь.

Взвалив ранец на плечи, я попробовал походить с ним. Ничего. Сносно. Через мгновение почувствовал — чего-то не хватает. Правильно — винтовки с патронами, лопаты, которую в последнее время мы носили с собой как мотыльки.

К походу в неизвестность готов.

Кое-кому из наших пришлось туго. Были среди нас и такие, кто во время отступления не брезговал брошенными обывателями вещами и одеждой. Еще пару месяцев назад, когда мы пятились с боями (и рытьем канав) через Готтенхафен, Сопот, Данциг, самые невзрачные вещи, утратившие всякую ценность, казались сокровищами и вору

и скупердяю. Оставленные беглецами дома — это шкафы, битком набитые одеждой, это горки, полные фарфора и хрусталя, вино в погребах, и варенья, соленья, маринады, консервы, которые только способны немецкие домохозяйки . . .

Теперь же началась «переоценка ценностей». Все с собой не возьмешь. Бросить тут — грешное дело. Пришлось этим рвачам бороться с собственной жадностью. Кто-то из них принес мне костюм: «Может, здесь мне придется совершить побег. Возьми, переоденешся, если понадобится. . .»

От костюма я отказался. Не знаю почему, но я рассуждал так: если действительно появится возможность побега, если возникнет такая необходимость, то уж ситуация сама подскажет, как поступить. Правда, здесь мне придется сознаться, что однажды на всем этом страшном пути домой мне пришлось-таки пожалеть о своем отказе. Как повернулась бы моя жизнь, возьми я тогда этот костюм? Не ведаю. Но — я отказался и, может быть, только поэтому могу сейчас писать эти строки.

Дорога была уже забита колоннами немцев. Они шли, не ломая строя, по взводам, ротам, батальонам, полкам. Во главе каждого подразделения шагал командир при всех регалиях и орденах. Тогда русские еще не возражали против их ношения. Наш батальон, стоя на обочине шоссе, чего-то выжидал. Русских не было видно. Германская армия нескончаемым потоком тянулась на запад. Я и вообразить не мог, что на полуострове Хель столько войска! А теперь вот немцы шагают, шагают строем, и горячий асфальт трескается и уминается, как тесто . . .

Через минуту к нашим офицерам подкатывает мотоциклист — немецкий вестовой. Наша колонна оживает и вступает на шоссе. Функ-машина с грузом продовольствия где-то посреди колонны, ее охраняют самые крепкие парни. Там же походная кухня. Мы вливаемся в строго отведенное нам русло общего потока военнопленных. . . Организация у немцев, как всегда, на высоте, все продумано до мельчайших подробностей, и вот мы уже ничем не отличаемся от этой серой бесконечной колонны. Единственное отличие — нарукавный знак в форме щита. «Латвия». Каких только унижений не довелось нам потом испытать из-за этой «Латвии», иног-

да вдруг любезное, по непонятным причинам, отношение столь же внезапно и необъяснимо сменялось проклятьями и бранью . . .

На ходу я фиксирую взглядом брошенные на обочине и в лесу машины, артиллерийские орудия с ящиками снарядов, землянки, сочащиеся смолой пни, подрубленные и покореженные снарядами верхушки деревьев . . . груды винтовок, траншеи для автомашин . . . Пройдет много дней, месяцев, лет, прежде чем поляки приведут все это в порядок, тот, что царил тут до войны, перед всей этой катавасией. Сколько труда все это потребует, и с горьким, щемящим чувством я думаю о том, что и моими руками рылись траншеи и ямы, сплывались стройные сосны . . . Слева и справа одинаковая картина разрухи, и впечатление такое, что через узкое бутыльное горлышко выбираешься из мутной вонючей жидкости.

Где-то впереди время от времени ухают гулкие взрывы. Гудит земля, стонет воздух. Не успевает гул улечься за лесом и морем, как новые раскаты сотрясают землю. То частят, а то бьют с долгими паузами. В первое мгновение я не соображаю, откуда доносятся взрывы, но вскоре все становится ясно.

Мы приближаемся к узкому перешейку нашего полуострова — к линии фронта. Пересекаем ее — и видим отброшенные далеко в противотанковый ров заграждения из колючей проволоки. На обочине стоят немецкие санитарные машины, санитары несут на носилках раненых солдат, спешат к ним сестры милосердия в белых чепчиках, с красным крестом на груди . . . И тут я все понимаю, и мне делается страшно! По меже ползает немецкие солдаты, отыскивая закопанные в земле мины . . . Никаких миноискателей у них нет и в помине, только руки, дрожащие пальцы . . . Совсем рядом с нами взлетает на воздух столб земли, грохот — и санитары с носилками мчатся в направлении взрыва. Здесь война еще не кончилась. И не кончится до тех пор, пока эта узкая полоска земли не будет исхожена вдоль и поперек, пока не оторвет минами еще множество рук, ног, голов . . . А сколько таких зон, полей и лесов придется еще разминировать! Во всей Европе . . . Разве мог я тогда представить, что и двадцать лет спустя в окрестностях Приекули погибнут школьники, что на лиепайском взморье подорвутся на mine братья-близне-

цы... Тогда мне это было неведомо. Та нейтральная полоса, с теми взрывами, с покалеченными и убитыми, которые пали в первые дни мира, осталась наконец за спиной...

Полуостров раздается вширь. Мы вступаем в район дач. Когда-то мы миновали их при отступлении, идя в обратном направлении. За это время — а прошло всего пару месяцев — дачные строения пострадали пуще прежнего. Несколько домов разрушено артиллерийским обстрелом, другие разобраны русскими на укрепления. Местных жителей не видеть, всюду войска — пехота, артиллерия... Солдаты снимают с лафетов пушки, снуют «виллисы», очень много лошадей — как юрких, с длинным волосом, так и мощных бельгийских тяжеловозов. Всюду американские «студебекеры». Ни одного русского грузовика. А вот солдат масса. Меня поражает это воинское столпотворение. Зачем русским такая огромная армия, такое количество военной техники здесь, на этом крошечном полуострове? Насколько я понимаю, единственное, о чем думали немцы в последние месяцы, — как можно дольше продержаться на этой узкой косе, еженочно вывоза на судах куда подальше как можно больше людей. А тут — такая армия...

В населенных пунктах, что по обе стороны шоссе, вытянувшись вереницей вдоль обочины, стоят русские бойцы. В руках у них буханки хлеба, консервные банки, трофейные сигареты. И все они кричат: «Ур, ур, ур...» Желают сменить продукты и курево на наручные часы... Колонна движется вперед, но вереница людей в военной форме, стоящих по обочинам дороги, не прерывается — «ур, ур, ур...» Словно голубиное воркование. Предлагаемый обмен явно неравноценный, сделка состояться не может. Пока... Я вглядываюсь в эти лица. На них читается не злора и не гнев, а скорее искреннее удивление, простодушная улыбка зрителей смешного и необычного представления. Кто-то свистит на манер футбольного болельщика — заложив в рот три пальца. Некоторые швыряют в нас камнями, но таких немного и сотоварищи пытаются их урезонить, обкладывая матом. А шествие все длится. Змейка вползает на пригорок, и с вершины я оглядываюсь назад, на панораму окрестностей. Сколько хватает глаз, в солнечной дымке

тянется наша колонна — тысячи, может быть, десятки тысяч человек. Вперед то же самое; не видеть ни головы, ни хвоста. Шоссе перерезает неширокую опушку леса. Там, по обе стороны дороги, стоит с блокнотами группа офицеров, что-то записывают, отмечают. Счет-учет, наверное. Процедура не трудная, ведь военнопленные идут четким строем, повзводно, поротно... Сколько этих ходочков в неизвестное? Прошло много лет, но я нигде не читал об этой Хельской операции. На фоне великого истребления народов незначительная была операция. Но мне почему-то кажется, что всё, что с нами происходило тогда, заслуживает внимания... «Ур, ур, ур...» — воркование не унимается.

Сорок пять минут строевого шага — десятиминутный привал. Люди со всеми ранцами заваливаются в придорожную канаву, задирают ноги, упираясь пятками в насыпь. Кровь отливает к голове, дышать становится легче.

По опустевшему шоссе, заложив руки за спину, прогуливается немецкий майор. Всем своим поведением он вызывает презрение к отдыхающим в канаве измученным солдатам. Майор, разумеется, шагает налегке. Его клажа в машине, поэтому ему ничего не стоит прогуливаться по шоссе, распрямив плечи, упрямо вдавив в грудь подбородок.

Его обступают русские в линиях гимнастерках, стоптанных брезентовых сапогах. «Ур, ур...» Поначалу майор не понимает, что от него хотят. С выражением высокомерия и ненависти смотрит он на подошедших солдат, их просьбу истолковывает по-своему. Вынув из кармашка большие серебряные часы на тяжелой цепочке, щелкает крышкой и показывает точное время. Русские переводят взгляд с циферблата на гладкое выбритое лицо майора. Один из солдат, отодвинув руку господина майора, зажимает часы в ладонях, как головку возлюбленной, и тянет к себе. Только сейчас до немца доходит смысл происходящего. Он что-то орет, и русские испуганно пятятся назад. Зашедшись в крике, майор отстегивает цепочку и с размаху шмякает массивные часы об асфальт. Слышен жалобный звон. Русские, вытаращив глаза, смотрят то на майора, то на разбитые часы. Отлетевшая от корпуса серебряная крышка катится по асфальту. Немец стоит неподвижно, как ста-

туя. Один из русских что-то говорит на своем языке и осуждающе качает головой. Потом наклоняется, подбирает с земли часы, крышечку и сует в карман. Солдаты не расходятся — они продолжают в упор смотреть на майора, как на какое-то чудо. И тут один из них сдирает с френча владельца часов офицерский Железный крест первой степени и у всех на глазах расстегивает свою ширинку. Помочившись на крест и словно обжегши ладонь, он швыряет немецкий орден далеко-далеко в кусты, в сердцах сплевывает, и все они уходят.

Майор превращается в мумию. Он еще не вполне осознал случившееся. Немецкому майору трудно, почти невозможно поверить в то, что произошло с ним, с его орденом. Какое унижение! Какое невыносимое унижение.

По команде на построение мы уже стали колонной, уже двинулись вперед, а немец все еще стоял посреди дороги, сцепив руки за спиной, опустив голову...

Переход продолжается. Солнце палит немилосердно. На окаймленном соснами шоссе ни ветерка. Под вечер коса Хельского полуострова наконец пройдена. Перекресток. Несколько немецких автомобилей с поднятым верхом. В той, что поближе к дороге, стоит во весь рост, приложив руку к козырьку, немецкий генерал. Поблескивают ордена, генерал отдает честь колонне. В пальцах зное слышно только, как печатают шаг солдаты. Генерал, видимо, стоит в машине изрядно, рука его словно застыла. Молча провожает он в дальний путь побежденное воинство. Фамилиа этого генерала мне и сейчас неизвестна, но сцена врезалась в память на всю жизнь. Как бы дико это ни звучало сегодня, но в те дни я не чувствовал своей принадлежности к этой многотысячной колонне. В моем сознании жило отчетливое убеждение, что только волею обстоятельств я попал сюда, что меня усадили в эту безжалостную карусель против моего желания, и скоро, теперь совсем уже скоро, я отделюсь от этой серой массы и буду — я. Мне еще не ясно, кто он таков, этот я, как себя проявит, что с ним случится, но только я — это буду я. Лично я. Нет, это не было трусливым бегством от людей, вместе с которыми я утапывал плавный асфальт. Нечто иное. Я был им чужой, и они были мне чужие, и все

же... Я никогда не забуду этого чужого мне, незнакомого генерала, который стоял навтыжку в автомашине и, приложив руку к фурточке, прощался со своей армией. Что-то подобное я читал, видел в кино...

С наступлением темноты колонна остановилась. Люди попадали кто куда. На раздаче пищи нам досталась какая-то неопределенная каша с мармеладом. Русские нас кормить не думали. А если бы и подумали — сколько тонн провианта для этого понадобилось бы! Русские просто и не могли прокормить такую ораву, и мы это прекрасно понимали. Благословенно разбойное нападение на продуктовый склад под водительством Крамписа, благословенна наша функ-машина... Проглотив еду, мы повалились навзничь как убитые. Никто нас не охранял, ни у кого и в мыслях не было, по крайней мере среди латышей, бежать отсюда. Мы стали членами одного стада. Стада без вожака.

Утро следующего дня выдалось теплым и солнечным. Я проснулся от какой-то суеты — люди готовились снова выступить в поход. Кто нас разбудил? Никакого приказа мы не слышали. Парни складывали плащ-палатки, на которых мы спали, наспех перекусывали, хотелось умыться, попить... Кругом плоская зеленая равнина. Воды ни капли. У кухни длинная очередь. Повар зачерпывает из котла воду и, стараясь не пролить драгоценную влагу, через воронку наполняет подставленные фляги.

— С водой экономно, — предупреждает он. — Кто знает, когда мы выйдем к реке...

Тысячи людей, до самого горизонта, копошатся на умятой, хилой весенней траве. Где-то далеко впереди строится на сером асфальте колонна. Вскоре и мы выстраиваемся на шоссе. Раз-два, и без всякой команды колонна трогается с места. Немецкая дисциплина, думаю я про себя, поразительна! Они, видно, впитывают ее с молоком матери... Ни одного русского поблизости не было, никто нас не подстегивал и не понукал, а глядите-ка, подразделения стройными рядами шагают одно за другим в ногу, выдерживая заданный интервал... И в этом нескончаемом людском потоке плывет вместе со всеми наш стройбат. В четко обозначенном месте, ничем не выделяясь среди немцев, разве что латышским языком.

Мы шли на восток. У некоторых из нас были при себе карты, но направление нашего движения легко можно было определить по солнцу — оно взбиралось все выше и выше и палило все нещадней. Звякали фляги. Кто не успел наполнить их водой, бежал вдоль строя назад, к кухне, но там воды уже не было. Приходилось делиться с товарищами. Тогда мы еще делились — все и со всеми... Долгий переход едва начался, сил у нас пока хватало, и вообще нам казалось, по крайней мере мне, что идти недолго... Потом все переменится. Но это будет потом. А сейчас мы еще делились водой, угощали друг друга куревом, и никто даже отдаленно вообразить не мог, как затянется и во времени, и в пространстве этот наш поход. Беззаботность и легкомыслие еще живы были во мне и в других моих товарищах. Но многие уже смекнули что к чему. Оптимистов в нашем батальоне было меньшинство, только мы, глупцы, об этом не знали и по заведенной в годы войны привычке делились всем, что у нас было и нам принадлежало. Лишь об одном мы, оптимисты, если это вообще правильное обозначение, позабыли или просто не брали в голову — война уже четвертый день как кончилась. Настало мирное время, подобно тому, как кончается молодость и приходит зрелость; мы недооценили этой перемены. Мир для нас, легкомысленных юнцов, оказался куда трагичнее и неожиданнее, чем все бомбежки, обстрелы и ужас смерти. Тут пошла иная борьба, другие приемы, иные правила атаки и обороны. Но не менее беспощадные. И, как это бывает в жизни, одни быстрее и легче, безболезненно приспосабливаются к новым обстоятельствам, другие, старые товарищи, по-прежнему и в горе и в радости по традиции держатся вместе. И эти различия, обусловленные не рассудком и не логикой, проявляются постепенно, причем в первые дни еще незаметно, а с течением времени все явственнее и определеннее.

Все чаще вдоль колонны разъезжают германские амфибии с немецкими и русскими офицерами, мелькают и американские «виллисы» — тоже с офицерами. Приказов они не отдают. Кажется, просто не замечают окутанную дорожной пылью колонну, снуют себе из конца в конец, а зачем? Видимо, все-таки наблюдают за движением пленных, следят за тем, куда мы на-

правляемся. А движение, как я уже сказал, безукоризненное — никаких заторов, никто не отстает. Средним маршевым шагом колонна проходит в день сорок, иногда пятьдесят километров.

Первая заминка вышла у какой-то речушки — ребята бросились наполнять полупустые фляги. Люди набирали воду, сражаясь за каждую свободную пядь на берегу. Склонившись над водой, я увидел в нескольких шагах от себя павшую лошадь. Вздутый живот, спина, ноги как четыре торчащих кола... мелководье... течения почти что нет. Меня воротило, но набрать воды в другом месте, выше по течению, было невозможно — колонна не останавливала своего движения; наполнив фляги, мы побежали догонять своих.

Окрестности словно вымерли. Не дымятся печные трубы, на лугу, в поле — нигде ни души. Ощущение такое, будто мы погружаемся, входим в тишину, все глубже и глубже. Ни собачьего лая, ни петушиного пенья, и мне невольно приходит на ум донесение Шереметева Петру I о том, что... в Лифляндии не осталось ни единой живой души на расстоянии собачьего лая. Может, донесение звучало как-то иначе, но тогда я был убежден, что в бывшем Польском коридоре тоже не осталось ничего живого, ни одной божьей твари.

Вечером — небольшая свалка возле нашей кухни. Немцы, узрев, что у нас раздают очередную порцию каши, стали в очередь. Но повар наш, — мужик с характером: немцев он прогнал, обрушив на их голову такой поток латышской брани, какого давненько не изрыгали его истомившиеся уста. Однако, сообразив, что тут хозяйничают какие-то немемцы, фрицы осмелели и обнаглели. Они вдруг опять впали в раж высшей расы, хозяев мира и, громко крича и командуя, пытались навести на раздаче собственный орднунг. Это им даром не прошло. Тогда мы еще держались вместе, сообща защищали свои интересы. Не только котел каши, но нечто более важное и существенное. Схватка была короткой и беспощадной. Парни дрались с такой решимостью, с так долго скрываемой злостью, что в тот славный вечерок побили бы и не полсотни, а целый батальон немцев. Получив с нашего провиантского склада немного мармелада и сахара, мы организовали охрану кухни. Я срезал в рощице основательную палку, другие вооружились кто чем

успел, и мы стали поджидать немецкого нашествия. Было ясно, что они заявятся. И для того, чтобы отомстить за вечернее побоище, и с целью урвать кое-что из наших скудных запасов.

Немцы объявились после полуночи. Вооружены они были не только дубинками. У многих в руках сверкали штывы. Мы-то их давно повыбрасывали. Трудно сказать, сколько фрицев явилось к нам под покровом темноты. Мы подали свистком условный сигнал, но к тому времени драка уже занялась. Вскочив со сна, наши прибежали на подмогу. Бой завязался нешуточный, щадить никого не щадили. Видно было плохо, приходилось ориентироваться по стенам и вздохам. Когда все кончилось, мы оттащили побитых немцев подальше во тьму и стали сзывать и разыскивать своих. Пришел батальонный врач (единственный из наших офицеров, кто не бросил нас на произвол судьбы в ту отвратительную ночь). Наложил кому-то пластырь на поврежденную бровь, другому вправил вывихнутый большой палец, осмотрел мою верхнюю губу в том месте, где еще несколько минут назад был передний зуб... «Губу надо зашить», — сказал он, но кругом была такая густая тьма, что это намерение пришлось оставить. Вот пишу сейчас и нащупываю языком едва заметный шрам с внутренней стороны губы, и это, очевидно, помогает мне оживить в памяти события той ночи... Зуб? Впоследствии я терял зубы без всякой драки — их расшатывала и «удаляла» один за другим цинга. В литфондовской поликлинике зубная врачиха выдрала мне предпоследний, и теперь я хожу с аккуратным протезом (пока не щелкает), но от многолетней привычки, смеясь, прикрывать губами пустые десны, никак не могу избавиться.

Показались знакомые места. В конце марта мы откатывались отсюда вместе с немцами под артиллерийским и минометным огнем, теперь же шагали бодро, во весь рост. Тогда здесь стягивался один из устроенных русскими «мешков», мы отступали к Готтенхафену, Сопоту, Данцигу. По дорогам тянулись беженские подводы — немецкие, польские. Нынче, с окончанием войны, штатских нигде не видно. Все армия да армия...

Возле какого-то поселка меня обуял непонятный ужас. Как будто я уже видел однажды эти места. То ли во сне,

то ли в далеком детстве. Кругом все знакомое — предметы, дома, даже деревья и камни... Да, деревья! И тут я вспомнил все до мелочей: во время мартовского отступления именно здесь, в этом месте, дорога была перегороджена раскрашенным шлагбаумом. У барьера стояли немецкие офицеры и солдаты с красными нарукавными повязками с черной каймой. Спецкоманда. Мы их называли патрулями смерти. Если при проверке документов патруль обнаруживал нечто подозрительное или выявлял отставшего от своей части солдата и даже офицера, несчастного ждала смерть. И как немое свидетельство этих казней колыхались на ветвях раскидистых лип повешенные... Сначала их, между прочим, расстреливали на месте, потом надевали на шею петлю и вздергивали на сук, где они медленно раскачивались другим в назидание. А чтобы предупреждение было недвусмысленным, на груди у некоторых висели дощечки: «Я дезертир», «Я предал родину и фюрера», «Я грабил» и т. д.

Не знаю, что нас спасло, когда мы подошли к этому жуткому чистилищу. Может, численность нашего батальона — пятисот человек было, а может, бегущие с фронта немецкие танки, которые крушили все на своем пути. О том, что за вояки в них сидели, можно было судить по бешеному драпу и привязанным к башням тушам подсвинков... Танки умчались, а нашу часть развернули на сто восемьдесят градусов. Выдали по фаустпатрону на двоих — и вперед, супротив надвигающегося «большевизма». Немец с ведром белой краски намалевал кистью на борту одной из наших подвод лозунг: «Ohne Kampf-kein Sieg!» (Без борьбы нет победы!)

Помню, где-то совсем близко трещали русские пулеметы... Тела казенных раскачивались на деревьях, а мы все стояли и ждали чего-то... Спала нас, вернее помогла преодолеть этот барьер, какая-то запоздалая танковая часть. Громыхая гусеницами, она снесла шлагбаум, разметала «команду смерти», и мы, взяв ружья наперевес, устремились за танками в тыл, в глубь «мешка».

... И вот мы снова на этом месте. После того танкового прорыва барьер, верно, уже не восстанавливали, не было и повешенных... Но остатки веревок все еще лохматились на деревьях.

Пройдут месяцы, может быть годы, и окрестные мальчишки с удивлением будут разглядывать эти обрывки петель на шумящих липах . . .

Под Готтенхафеном нам повстречались первые мирные жители. Они толпились на обочине, угрюмо на нас взирая. Кто выкрикивал ругательства, кто швырял в нас камнями . . . На въезде в одно имение стояла группка людей, в которых по одежде и лицам я шестым чувством угадал что-то родное и близкое . . .

— Привет, латыши! — раздался вдруг взволнованный женский голос. Женский голос, говорящий по-латышски?! Когда я в последний раз его слышал? Давно, очень давно. Женщина перескочила через канаву и подбежала к ребятам. Ряды смешались. Стоявшие с нею на том проселке тоже были латышами, в основном женщины с детьми и пожилые мужчины. Они долго шли рядом с нами и рассказывали, рассказывали без конца . . . Осенью сорок четвертого года с потоком беженцев они покинули Лиенау, и здесь застряли в огромной беженской массе и остались работать. Они озабоченно выспрашивали нас про свою дальнейшую судьбу. Что мы могли им ответить? Мы не знали, что с нами будет в ближайшие сутки. Женщины расспрашивали о своих мужах, братьях, сыновьях. Не видели ли того, не слышали ли о том? Их родные тоже взяты в легион . . . В глубине души я очень, очень хотел, чтобы какая-нибудь из этих женщин вдруг нашла среди нас близкого человека, ну хотя бы земляка, из одного города, из своей волости! Мои надежды не сбылись.

Вскоре женщины с детьми поотстали. Расставаясь, мы узнали, что в имении, где они работают, начальницей назначена русская — вывезенная в Германию колхозница из какой-то далекой российской деревушки. Новоспеченная хозяйка, обрядившись в платье сгнувшей помещицы, пакет для отправки ящички с барахлом — посудой и одеждой. Беженцев не кормит, честит фашистами и ежедневно грозит, что вот придут русские солдаты и перестреляют всех как собак, как бешеных собак со всеми щенятами . . .

У меня от этих рассказов волосы вставали дыбом. Время такое — все возможно . . . Много позже я начал понимать корни патологической ненависти «новоявленной помещицы» к чуже-

земцам. В ее голове между немцем и латышом разницы никакой не было. Все они говорят на чужом, непонятном языке, и все они повинны в чудовищных испытаниях, выпавших на долю русского народа. Но это я сейчас такой понятливый. А тогда, в солнечный майский день, слезы страха и беспомощности, катившиеся по щекам латышских женщин, повергли меня в ужас.

О том, что город близко, свидетельствовало и появление регулировщиц на перекрестках. Мы с интересом и изумлением наблюдали невиданное дотеле зрелище: в центре перекрестка стоит молодая женщина в полном обмундировании и брезентовых (кирзовых) сапогах. Вместо брюк юбка. В каждой руке по красному флажку. Грудь в орденах. Регулировщицы, по большей части молодайки, до того свыклись с колоннами пленных, что иногда даже позволяли себе пошутить. Так, один из наших, проходя мимо регулировщицы, с улыбочкой спросил, далеко ли до Сибири. Девушка улыбнулась в ответ, грациозно махнула флажком на восток и сказала: «Недалеко . . .»

И у меня перед глазами всплыла другая картина. Было это спустя несколько дней после начала войны. Пожары в Лиенае на унимались ни днем, ни ночью. Я, пацан, по ночам дежурил вместе с матерью на железнодорожном переезде в Кругземь, километрах в двадцати от Лиенау. С вечера здесь нескончаемой вереницей двигались русские части и отдельные красноармейцы, которым удалось вырваться из окружения. Первый их вопрос обычно звучал так: «Далеко ли до Берлина?» Мы с матерью боялись этих вопросов. До Берлина — слава Богу, а сколько в точности сотен километров, мы не знали. Красноармейцам же кто-то внушил, что Берлин совсем близко — вон там, за Сустаскими борами . . . Мать знала по-русски и отвечала не прямо, а намеками, но русские, выслушав ее осторожные объяснения, ей не верили. Угрожающе вертя в ладонях ручные гранаты, махая винтовками, они не желали и слышать о том, что немецкие войска уже в Приекуле, в семи километрах отсюда, верно, сторожиха на переезде с умыслом водит их за нос. Напившись воды у колодца, потребовав хлеба, шли дальше. На Берлин . . .

Мы-то знали, что Сибирь далеко. Еще

как далеко, и холод там такой, что люди умирали от морозов и в дореволюционное время... И все же, все же... Не забыл я улыбку той регулировщицы и ее словечко «недалеко»... И вопросов русских солдатиков в сорок первом в Кругземье не забыл. Кажется, никакой связи! И все же, все же...

Как-то в полдень над нашей колонной с тыла пронесся волной как бы шум морского отлива, и мы бросились в придорожную канаву. Сначала до нас долетел дальний рокот моторов, вскоре на дороге показались грузовики. Американские «студебеккеры». Было их не то пятьсот, не то тысяча, а может, и еще больше. Они пронеслись мимо нас с разнообразным грузом: пушками, зарядными ящиками, людьми в военной форме, санями, плугами, столами, шкафами, кроватями, и опять пушками, плугами, косилками... В кузовах нескольких машин, тесно прижавшись друг к другу, стояли высохшие как скелеты люди в полосатых тюремных робах. На груди у них или в руках пестрели флажки разных стран Европы: польские, чешские, французские и другие, мне неизвестные и незнакомые. Эти люди в тюремной одежде вздымали кулаки и кричали нам: «Германии капут!» И еще что-то кричали — конечно, адресованные нам ругательства и проклятья, но я не понимал их и, может быть, поэтому на душе у меня было не очень мрачно. (Впоследствии я немало узнал о страданиях заключенных и уничтоженных узников концлагерей, но тогда, в пыли придорожной канавы, все это еще оставалось для меня за семью печатями.) За этими машинами шли другие, тьмы и тьмы, и грузы в «студебеккерах» были, как я уже сказал, самые немислимые, непостижимые для человеческого разума...

Наконец необозримый поток автомашин растаял вдали. Над пустынным шоссе зависла пыль, бензиновый смрад и брань на непонятных, чужих языках. И пока шло построение колонны, эта брань витала над нашими головами. А может быть, ее слышал только я один?.. Но я-то слышал ее, и моя поступь с каждым часом делалась все тяжелее.

Близ Готтенхафена мы устроились на ночлег. Все было, как в предыдущие дни: на ужин каша, ломоть хлеба, немного кофейного порошка — и basta. Питьевая вода кончилась. Поев, улег-

лись спать. Охранять функ-машину отправились парни из другой роты. Да и выпало им стеречь невеликое богатство — пару мешков с мукой, два ящика мясных консервов на пятьсот едоков... Хлеб тоже кончился. Таяли запасы бензина... Медленно и неотвратимо к нам подступал голод.

Наутро шофер сообщил, что ехать дальше нельзя — бензин весь вышел. Машину столкнули в канаву, кухню тоже, так как варить было нечего. Тащить эту тяжелую тачку на руках не имело смысла. Повар раздал остатки муки и по банке мясных консервов на десятерых — восемьдесят граммов на рот. И точка. Да, еще следовало подумать о больных, которых до тех пор везли на машине. Выяснилось, что где-то в хвосте колонны есть санитарный транспорт. Найдется ли там место для наших, возьмут ли их, мы не знали, однако жуткая перспектива расставания со своими никого не устроила. Больные пошли рядом со здоровыми. Кто с повышенной температурой, кто страдал поносом... И надо же всему этому случиться именно сегодня, когда нам, как выяснилось, предстоял самый длинный отрезок пути. Русские, очевидно, не хотели ставить нас на ночлег в разрушенном до тла городе. Сменяясь, мы вели наших больных, поддерживая их под мышки. Врач больше всего опасался поносов. Не дай бог, дизентерия начнется!

Показались горожане — редкие прохожие, возницы на подводах, в одном доме дымилась печная труба. Если в предместье еще сохранились кое-какие дома, то центр города производил удручающее впечатление. Многоэтажные здания превращены в руины, на улицах от развалин очищена только проезжая часть. Всюду кирпичи, щебень, щепа, под ногами хрустит разбитое стекло. Попадавшие навстречу горожане, стоя на гряде щебня, равнодушно взирали на поток пленных. Одна женщина что-то выкрикнула по-латышски, верно заметив наши нарукавные знаки. Что она кричала, я недослышал... Вдоль тротуаров валялись спутанные электрические провода, какие-то трубы. Во дворахцелевших домов стояли «студебеккеры», дымилась полевые кухни. Окрест бродили русские солдаты. Одни зачем-то рылись в развалинах, другие забавы ради забрасывали нас кирпичами. На перекрестках стояли регулировщицы с накрашенными губами и

взбитыми по немецкой моде высокими прическами... Куда-то шагал отряд красноармейцев, ехал броневик... И тут я насторожился: два месяца назад где-то здесь, под ближним кладбищем, мы рыли позиции для зенитной артиллерии. Здесь должен быть пятиэтажный дом — брошенный жильцами, он служил нам ночным пристанищем после дневных трудов. Да, вот она, пятиэтажка, стоит как стояла, только пустые глазницы окон остались чуть ли не ежедневной бомбардировки. Вон там, на четвертом этаже, со мной произошел случай, который и сейчас кажется мне просто невероятным.

Вернувшись с работы, мужики дулись в карты в большой, модерново обставленной комнате. На столе, пятная дрожжами бликами стены, картины, полированную мебель, горела плошка. Откинувшись на спинку софы, я перелистывал иллюстрированную книгу про животных. Уют полный, разве что за окном слышны разрывы артиллерийских снарядов... Внезапно что-то громынуло совсем рядом. Плошка погасла, взрывной волной меня вышвырнуло с дивана. Грохот падающих предметов, звон разбитого стекла. Проклятия. И мертвая тишина. В глотку набилась сладковатая известковая пыль, мешая дышать. В ушах гудит и звенит... Наконец кто-то догадался чиркнуть спичкой и зажечь плошку, и комната предстала перед нами вверх дном: куски сорванной с потолка и стен штукатурки устилают пол и будто дымятся, на полу картины, книги, осколки. Дверь на кухню раскрошена в щепки, в окна выбиты стекла. И все это в одно короткое мгновение, за какую-то адскую вспышку. Мы многое повидали и пережили на войне, но этот страшный взрыв в пятиэтажном каменном доме просто оглушил нас и в прямом, и в переносном смысле. Переступив через смолотые двери, мы прошли на кухню. Вот оно, восьмое чудо света — снаряд разорвался рядом с нами, прямо в кухне! Но самое удивительное — влетел он через единственное кухонное оконце! Ошарашенные, глядели мы на вывороченный пол, и всех нас занимала одна и та же мысль — мы стали свидетелями чуда. Бог ли помог, или это была судьба... Все равно, но мы остались живы — все восемь человек, без единой царапины!..

Когда я очнулся от воспоминаний, наша колонна уже давно миновала этот

квартал, и я подумал о людях, которые станут жить в доме сем и так и не узнают, что пережили здесь однажды восемь бойцов, избегнувших уготованной им смерти. А сколько таких домов по всей Европе — тысячи. И счастливых, и трагических, и снесенных, и полуразрушенных зданий-гробниц... Хорошо, что будущие жильцы никогда не узнают о происходившем в этих стенах — война и без того принесла с собой много жуткого и бесчеловечного...

Как бы в подтверждение моих размышлений о недавнем прошлом, свидетельством того, что кровавая бойня отнюдь не кончилась с подписанием акта о капитуляции, на одном из перекрестков Готтенхафена взору открылась чудовищная сцена.

Видимо, некоторое время назад на этот перекресток обрушилась одна из стен выгоревшего дома. Груды кирпичей лежали на мостовой, и проход представлял собой щель, которой одновременно могли воспользоваться не более двух человек. На этих развалинах трудились женщины. Ломами, тяпками и лопатами они пытались измельчить сцементированные кирпичные груды. В том, что этим занимались женщины, не было ничего удивительного — мужчины либо праздновали победу, либо сдавались в плен, и на долю женских рук выпала самая тяжелая физическая работа. Поражало другое — как эти женщины были одеты. Они казались внезапно, без предупреждения, взятыми прямо из квартир — в жаркий майский день на одних был яркий и дорогой наряд, на других домашний ха-лат, на третьих просто нижнее белье... Этим пестрым сборищем командовали, поддерживая порядок собачьими нагайками и дубинками... тоже женщины! Как только какая-нибудь работница выпускала лом из рук, воинственные надзирательницы били ее наотмашь. По спине, по голове... удар мог упасть в любое место. В створе улицы толпились пленные, которые все видели собственными глазами. Я в том числе. Надсмотрщицы избивали своих подопечных, ругались по-польски, перебегали от одной провинившейся к другой, бранились и били, били и бранились...

Все перевернулось. До сих пор мне только из книг было известно, что в трагические моменты народной истории именно женщины чаще и охотнее

всего брались за самые жестокие дела и в своих зверствах и кровожадности превосходили мужчин. Парижская коммуна, революция в России (позднее из газет я узнал о бесчеловечных bestиях, пытавших и мучивших людей в концлагерях) и так далее и тому подобное . . . И вот теперь польки мстили немкам за многолетнее унижение, за немецкие жестокости. Польки били их, ругались, шпыняли ногами. Не привыкшие к тяжелой физической работе немки, обессиленные, измученные, стояли, опираясь на лопаты, и плакали. И огромная разбитая немецкая армия дефилировала мимо кучки избиваемых женщин и девушек. Солдаты и офицеры шли и отворачивались — беспомощные, бессильные помочь, сознающие, что история сделала поворот на сто восемьдесят градусов. Отныне дубинки и нагайки были в руках польских женщин, и многое начиналось сызнова, но уже под другими флагами.

Движение колонны все замедлялось, все чаще приходилось перестраиваться на ходу, гуськом преодолевая завалы. Где-то слева остался порт. Туда в конце марта нашу роту послали разгружать прибывающий в гавань корабль с боеприпасами. Мы явились в порт еще до прихода судна и ждали, пока оно бросит якорь. «Ждали» — не то слово. Мы проклинали последними словами эту набитую снарядами посудину, которую через полчаса нам придется разгружать на своем горбу . . . Буксиры тянули и толкали корабль к пирсу, и тут налетела русская авиация. Видимо, сработала разведка. Бомбардировщики шли довольно низко, прямо на «наш» транспорт, другие цели их не интересовали. За несколько секунд портовая набережная опустела. Мы с ребятами скользнули в какой-то лаз в тот миг, когда фонтаны воды уже взметнулись вокруг судна. Едва перевели дыхание, как земля заходила ходуном, пятиэтажный склад, в подвале которого мы очутились, накренился . . . в горло вогнали пробку, уши оглохли . . . вокруг все рушилось, опрокидывалось и качалось. Больше всего мне врезалась в память эта странная и жуткая качка. И тут все стихло. Вдруг. Короткий миг — и все кончилось. Бомбежка казалась мне бесконечной, словно прошла половина моей двадцатилетней жизни, а на самом деле заняла секунду, от силы две-три, в течение которых жаркая взрывная волна пронеслась по-над на-

ми и над нашими головами осыпались кирпичи . . .

Когда мы вылезли из подвала, то не узнали окрестностей. От судна с боеприпасами в порту, разумеется, не осталось и следа, а на месте домов лежали дымящиеся развалины. Подальше горели склады, заволакивая дымом акваторию порта. Я посмотрел на ребята и, даже не считая их, не вглядываясь в лица, почувствовал, что на сей раз, да, и на сей раз мы пролезли сквозь игольное ушко. А что, если бы корабль бросил якорь несколькими минутами раньше или самолеты появились несколькими минутами позже . . . Тогда конец. Нас бы уже не было в живых. Мы бы не пали в бою и не погибли — нас просто не было бы на свете. Еще и сейчас мне трудно в полной мере осознать, как внезапно исчезает живой человек и от него даже горстки праха не остается . . .

Страшные, надо сказать, эпизоды всплывали в моей памяти, пока мы пробирались через руины. Мы нигде не задерживались, воды нигде не было, не о помывке речь — об утолении жажды. Мы шли, шли и шли. Солнце, бившее в глаза, теперь грело затылки. Ранцевые ремни оттягивали плечи. Я готов был поверить, что наши закаленные плечи настолько привыкли к этим ремням, что без нагрузки ощущается неуют . . . А необозримая колонна продвигалась вперед шаг за шагом, все еще выдерживая строгий, армейский порядок. Если бы не эта чудовищная жара!

Миновали Сопот. Тут я вспомнил, как пару месяцев назад, убегая от русских танков, мы спрятались на Сопотском железнодорожном вокзале. Застекленный потолок обрушился, двери сорваны с петель, вокруг с резким хлопком рвутся выпускаемые танковыми пушками снаряды, чей шум слышен уже после взрыва . . . Если ты слышишь вой снаряда, значит, на этот раз не по твою душу . . . Ворвавшись на вокзал, мы ввалились в довольно просторное помещение, где, судя по всему, был офицерский ларек. Прихватили на ходу несколько бутылок с цветными наклейками, пачки сигарет и, может быть, поживились бы еще чем-нибудь, не появившись в противоположных дверях русские. Запыленные и закопченные, задыхающиеся от бешеного преследования. И вот еще одна из необъяснимых случайностей войны. Увидев друг дру-

га, мы оторопели. Слишком внезапно все это было. Если сей миг прокрутить в кино в замедленном темпе, странные обнаружилась бы вещи: на наших лицах смятение, боязнь друг друга, непонимание . . . Ничего общего с современными фильмами о войне. Не стреляя, мы попятились назад и скрылись в проломе стены. Русские при виде нас настолько остолбенели, что в других обстоятельствах могли бы воскликнуть: «Ну и встреча, дьяволы!» Но мы растались тихо и без выстрелов. Мы выбрались через какой-то проем на железнодорожные пути, русские остались в офицерском ларьке. Еще сейчас, когда я пишу эти строки, у меня такое ощущение, что, повстречайся мне сегодня один из тех русских парней, моего возраста, я бы его непременно узнал . . . И, может быть, он узнал бы меня тоже . . . Кто знает, может это была бы не такая уж неприятная встреча тридцать шесть лет спустя. А впрочем, мирная жизнь иногда изменяет людей в худшую сторону, даже в сравнении с войной.

Много лет спустя мне сказали, что Сопот — это крупнейший польский курорт, наподобие нашей Юрмалы. В дни отступления я знал только одно — обстрелы, горящие дома, бегущие под бомбежкой люди и ничего больше. Да и на обратном пути, на пути в ту сторону, где моя родина, мой дом, я не успел толком ни рассмотреть город, ни познакомиться с его жителями. Зато они нас рассмотрели хорошенько, и это зрелище, видно, им сильно надоело — жители Сопота осыпали нас ругательствами, швыряли в нас камнями, плевались . . . унижительное ощущение принадлежности к нескончаемому потоку побежденных немцев . . .

Местность под Данцигом сильно напоминала Готтенхафен. С той лишь разницей, что разрушений в этом городе было еще больше. Руины, руины . . . Штатских почти не видно, во дворах уцелевших домов расположилась армия. На перекрестках танки, крышки люков откинута. На башнях сидят танкисты в черных набивных шапках. Играет музыка. Кстати, о музыке. В те дни прославленных «гармошек» и баянов мы нигде не видели. Баянисты, гармонисты и даже те, кто не умел взять ни одного аккорда, растягивали меха немецких аккордеонов «Hohner». Эти инструменты свели русских с ума. Впоследствии, ближе узнав русскую

жизнь и народные традиции, я многое понял, в том числе и это неодолимое желание играть, играть, выражая в музыке и радость победы, и надежду на скорое возвращение домой . . . 120-басовый «Hohner» даже внешне весьма внушителен — перламутровая клавиатура, черные лады, не говоря уже о басовых кнопках. Раззудись рука!

Но, конечно, не это было главным впечатлением в Данциге. Поражал лежащий в руинах город. С Данцигом у меня связаны особые воспоминания. Сюда меня, раненого, доставил из Риги пароход «Бремен», здесь я впервые ступил на чужой берег. Разумеется, не как турист. Был конец августа 1944 года, кругом лилась траурная музыка. На портовой набережной армейский оркестр беспрерывно исполнял похоронные марши, по трапу пришвартованного судна один за другим сносили покрытые знаменами гробы. Я их не считал. Их были сотни. Я не оговорился — сотни . . . То ли умирали в пути («Бремен» был превращен в санитарное судно), то ли сюда свозили павших на Восточном фронте офицеров — трудно сказать. В огромной массе раненых я был единственным латышом. Вполне вероятно, что такие же «одиночки» бродили вокруг или лежали на носилках . . . Верно, так оно и было, но отличить своих в кишении серых немецких мундиров было невозможно. Помню — какой-то немецкий врач, в очках, просмотрев мои документы, поднял к свету мой рентгеновский снимок: «В Хемнице!» (теперь это Карл-Маркс-Штадт).

Меня внесли в санитарный поезд, положили на чистую постель, и до самого Хемница я не сказал ни единого слова. Спутники ко мне не раз пытались со мной заговорить. Я не отвечал — поезд уносил меня все дальше и дальше от дома.

Вторично я очутился в Данциге уже после выхода из больницы. Здесь находились несколько санрот и резервный батальон нашего легиона. В марте я пережил жуткий налет на город. Немцы потом рассказывали, что Данциг бомбила американская авиация. Как бы там ни было, но тот вечер запомнился мне навеки. Мы шли тогда этой же дорогой . . . Отступали вместе с немцами. Рыли никому больше не нужные противотанковые рвы; тут я увидел табун лошадей, огромный, носившийся в сумерках по нейтральной полосе;

животные были в отчаянии и гудели низкими голосами. Зрелище завораживающее, трагическое, от неожиданности и русские и немцы прекратили огонь... Во внезапно наступившей тишине слышно было только цоканье копыт и прерывистое дыхание лошадей... И тут я снова убедился в том, что в этой беспощадной сече воюющие остаются прежде всего людьми. Такое нередко бывало на войне, в этой человеческой мясорубке. Но это другая тема, и я вряд ли когда-нибудь напишу об этом, у меня остается слишком мало времени. Я еще должен рассказать о больнице в Хемнице, о людях, которые разыскивали меня, одинокого латышского мальчишку, в огромной клинике. А. Кактиньш, балерина Грике и другие...

А в тот вечер в предзакатном мартовском небе появилось несколько самолетов, они выбросили «гирлянды» с таким расчетом, чтобы над городом образовался как бы невидимый четырехугольник. Медленно сгорая, в небе зависли четыре «плюшки»... И тут пошли бомбардировщики — сотня за сотней. Они входили в обозначенный «фонарями» четырехугольник и раскрывали свои бомбовые люки... Земля содрогнулась, воздушной волной людей разбросало как игрушки. Я лежал на дне земляного укрытия, словно в незасыпанной могиле, и смотрел, как в небе вновь и вновь появляются стаи металлических птиц, ощущал, как раскачивается земной шар, видел вокруг пожара, слышал неумолчный грохот... С небес обрушился ад. Что там ад! В аду, наверное, райская тишина и слабые язычки пламени в сравнении с тем, что творится здесь, на земле...

Как долго это продолжалось, не знаю. Когда последние самолеты улетели прочь, открыли пальбу зенитки... Невдалеке пылала полуразрушенная больница. Нас отрядили на эвакуацию больных. Куда их было эвакуировать? Вокруг с грохотом и гулом горел целый город. Стоим в растерянности возле полыхающего большого корпуса и никак не можем собраться с духом, чтобы окунуться в полямя... И тут мы увидели медсестер. Их белые халаты мелькали на фоне огненного моря. Согнувшись в три погибели, женщины выносили из бушующего пламени раненых, укладывали их в безопасном месте, куда еще не добрался огонь, и снова исчезали в дыму. Это

нас подстегнуло. В большинстве своем здесь лежали тяжелораненые. Сами они ходить не могли. Мы волокли на себе эти простреленные тела, с ампутированными конечностями, и размещали на пятачке земли чуть ли не штабелями, так как другого места просто не было — вокруг, пылая, рушились многоэтажные дома. **Жар нестерпимый. А мы все носим и носим.** В какой-то момент я с ужасом подумал, зачем мы это делаем (эта страшная мысль, уверен, приходила в голову каждому из нас). Зачем? Берешь на плечи живого человека, а доносишь труп... Но я носил, и другие носили, и медсестры... Как вдруг нашей работе пришел конец — выбросив в небо снап искр, больница обвалилась. Точнее, не обвалилась, а осела. Все пять или шесть этажей рухнули в гигантский костер. Остались только стены с глазницами окон. Одежда дымилась от жары.

И вот я в третий раз в Данциге (теперь это Гданьск). В мире, где ничего не горит. Не стреляют. Звучат аккордеоны, время от времени к тебе обращаются: «Ур, ур...» Солнце палит, но рту пересохло, а мы знай себе шагаем через разрушенный город, и скоро минуем его, и единственное, что я запомню в это свое третье «посещение» Данцига, будет жажда. Внезапно идущие впереди останавливаются. Чтобы не стоять на солнцепеке, мы укрываемся в тени разрушенного дома. Хочется пить. Страшно хочется пить. Через улицу, во дворе, вьется дымок над полевой кухней. Один из наших парней, взяв несколько котелков, отправляется туда. Мы не слышали, о чем он толковал с поваром. Мы только смотрели. Видно было, что надежды наполнить котелки водой мало. Наш смельчак достает из кармана портсигар, вынимает из него сигареты, а портсигар протягивает повару. Тот берет портсигар и отворачивает кран, сделанный почти что на уровне асфальта. В котелки капает вода!

Что тут началось... Солдаты ринулись через дорогу, окружили повара, который, мигом оценив ситуацию, поднял планку своих требований. Торжок пошел нешуточный. Русский выговаривал только одно слово: «... ур!» Но расплачиваться за воду часами никто не желал, поэтому живительную влагу меняли на что угодно — мыло, авторучки, перочинные ножи, крем для лица и бог ведает чем еще торговали ко-

робейники поневоле. Неожиданно появился русский офицер. Глянув на возникший базар и очередь к крану, он крикнул что-то, но голос его потонул во всеобщей кутерьме. Тогда он выхватил пистолет и выстрелил в воздух. Торговля, звяканье котелков прекратились. А офицер все палил и палил, пока не расстрелял всю обойму. Сменив обойму, он продолжал стрелять. Казалось, он пьян, и вся эта возня с водой, пальба в воздух доставляют ему неизъяснимое наслаждение. Наконец, ему удалось очистить двор, лишь над кухней, как прежде, висел дымок. Повар держал в руках шапку с приобретениями. Офицер ругал повара, но — нам с противоположной стороны улицы это было хорошо видно — не так, как немец, который раскричался бы и раскомандовался, а журил подомашнему, с наслаждением, с тем же удовольствием, с каким только что разрядил в воздух две обоймы патронов. Потом оба они — и повар и офицер — стали смеяться. Они смотрели в нашу сторону и ржали. Вид у нас действительно был смешной — чумазые, запыленные, злые и перепуганные... А вода продолжала течь, и вскоре лужица превратилась в ручеек, который стал стекать в канализационную решетку...

Прислонившись к стене ранцами, мы ждали, пока колонна тронется в путь. И снова среди солдат началось волнение — в полуподвальном зарешеченном окне показались молодые женские лица. Вполголоса попросили по-немецки сигарет, «но только, чтобы никто не заметил». Один из наших вступил с ними в переговоры. Беседа шла шепотом.

После того как русские заняли Данциг, рассказывали женщины, в городе в течение нескольких дней происходило нечто вроде варфоломеевской ночи. Солдаты выискивали целехонькие квартиры, брали одежду и вещи, сколько могли унести. Некоторые лыка не вязали. То здесь, то там слышался женский визг. Офицеры на действия солдат не обращали ни малейшего внимания. Сами они отбирали помоложе и по красивее, заталкивали их в машины и увозили куда-то, а солдаты продолжали шастать по квартирам, причем сексуально озабоченные удовлетворяли свои желания на глазах у товарищей...

Рассказчицы жадно затягивались ды-

мом и глядели на нас лихорадочно блестящими глазами. Мы ничем не могли им помочь, и они это понимали.

Заняв город, русские расклеили объявления — всем зарегистрироваться в ближайшей комендатуре. Мужчин было мало, в основном инвалиды и переодетые дезертиры, прятавшиеся по подвалам. Регистрироваться пошли в основном бабы. Молоденьких распахивали по машинам, остальным велено было находиться по указанным адресам. Через несколько дней желающих зарегистрироваться поубавилось. Женщины скрывались, но голод не тетка, приходилось идти в комендатуру... Насильничать к тому времени запретили, однако солдаты остаются солдатами... Большинство женщин назначались на уборку развалин. За это под вечер им выдавался кусок хлеба и ложка каши. Вдобавок по столовой ложке сахара на ребенка...

— Ну а вы? — спросили мы ошеломленно.

Одна из немок засмеялась и ткнула зажатой между пальцами сигаретой в сторону полевой кухни.

— Вот наш кормилец! — усмехнулась она. В ее голосе не было сожаления, злости или отчаяния. Этот голос и эту улыбку помню до сих пор. Скорее даже не улыбку, а горькую гримасу, мол, видите, солдатики дорогие, воевали вы, воевали, а вся тяжесть легла теперь... нам на живот.

— Он тут устроил для себя и своих дружок гарем, хотя, может, у них это называется по-другому. По вечерам, когда стемнеет, они являются сюда с котелками каши, иногда прихватывают с собой бутылку...

Наш переводчик повторил ее слова по-латышски, и до меня, наконец, дошел весь ужас ситуации, я почувствовал, как вспотели ладони.

«И в Латвии творится то же самое! — мелькнуло в голове. — Почему в Латвии должно быть иначе?» В упор гляжу на смазливое личико этой немки и никак не могу сообразить, что же вызывает у меня отвращение? Наконец дошло — ярко накрашенные губы. Стало противно, будто прикоснулся к чему-то липкому. Ныне, многоопытный и немало повидавший на своем веку человек, я, быть может, понял бы положение, в котором очутилась эта женщина и ее товарки. А тогда я был искренне убежден, что следовало предпочесть смерть унижению, вместо

того чтобы хлебать на ужин кашу и резвиться с теми, кто только что убивал твоих отцов, братьев, мужей или будет убивать их завтра... Ах, какими мы были желторотыми, неподготовленными к жизни, беспомощными мальчишками. Два года войны изранили нас не только телесно, но и морально, мы были не в состоянии смотреть на мир незашоренным взглядом. Нас к этому не готовили. Идеалы, идеалы... Они переполняли наши короткие жизни, и реальность с трудом пробивалась сквозь эти напластования. В нашей духовной стерильности во многом была повинна и литература, которой нас кормили прежде, та жвачка, что мы охотно глотали взахлеб.

Мне вдруг расхотелось глядеть на лица за решеткой. Заткнуть бы уши и закрыть глаза. Я подумал о доме, и меня опять обуял страх. А что если и там тоже... Я ощущал почти физическое желание, чтобы там, в Латвии, все было иначе, не так, как здесь! Колонна давно уже шагала по лежачим в руинах улицам Данцига, мы покинули город, вокруг сельская тишина и покой, припекает солнце, а я все иду и думаю о том, что в Латвии эти дни не должны быть такими тягостными.

Вечерний привал на зеленом, терпко пахнущем лугу. Парней замучил понос. Днем за нами по дну придорожной канавы тянулась нитка дерьма, теперь страдальцы сидели на корточках в дальних кустах, обрывали ольховые листья и, вконец измученные, валились от усталости где попало. В наших сумках таял продуктовый НЗ, воды не было, и тут в выигрыше оказались некурящие, затребовавшие свою долю, когда мы на Хеле дымили сигаретами, — теперь они меняли их на жратву. Кое-кого обуял жестокий, звериный азарт спекуляции и наживы за счет привычек и немощи других. О нет, спекулянты не разгуливали вокруг, предлагая сигареты. Они действовали куда более утонченно, умно и незаметно, и страстные курильщики попадались в расставленные сети, как голуби в силки из конского волоса. Потом настанут другие времена — люди уже в открытую предлагали свой товар, заламывая фантастические цены и не уступая ни на йоту. Но это потом. А сейчас сделки совершались как бы во имя дружбы, словно тебе протягивали руку помощи...

Организация нашего похода все еще

была предельно четкой. По-прежнему не было ни охранников, ни конвоиров. Где-то далеко впереди маячила голова огромной колонны. Может быть, там шагали или ехали сопровождающие, но более вероятно, что таковых и не было. Русские просто тыкали пальцем в карту — в пункт назначения дневного перехода, и колонна выступала в путь. Знал ли кто, сколь велика она, где находится хвост... вряд ли. Впоследствии, вплотную познавшемившись с организацией и управлением на русский манер, я убедился, что им далеко до совершенства. Скорее всего, немцы, отличаясь педантичной дисциплированностью, сами лезли все глубже и глубже в тот мешок, который мы называли между собой Сибирью... Словом, голова где-то там, в нескольких километрах от нас, мы, быть может, посредине, а хвост? Взберешься на пригорок — и оглядываешься в надежде увидеть если не начало, то хотя бы конец колонны... Мне это ни разу не удавалось: вьющаяся, как змея, вереница таяла впереди, в дальнем синюющем бору, а сзади, окутанная дорожной пылью, плохо различимая, сливалась с линией горизонта.

Харчей пока не выдавали. А шли мы уже без малого — неделю. Приходилось делиться последним, каждый вечер, что называется, мели по сусекам, распределяя рацион на завтра. Хлеб кончился, его заменяла пара столовых ложек муки, немного сырного порошка, мармеладная крошка. Больше всего забот было с водой. Надо было чем-то утолять жажду, да и запивать порошок, муку. О мытье в те дни никто и не думал. Так что при виде первой попавшейся лужи люди срывались с места, громыхая флягами. Толкотня, давка. Вода быстро становилась мутной, пить ее было нельзя. В колодцах, попадавших вдоль дороги, — стоялая вонючая жижа, в которой плавала дохлая собака или кошка. Как нарочно. Впрочем, некоторые не брезговали черпать воду и оттуда — не для питья, конечно, но чтобы сполоснуться. Предварительно выкинув подальше падаль.

Врач сбивался с ног. Не жалея сил, он бегал вдоль строя, подбадривал, ругал, грозил... И все из-за воды. Мы понимали его без слов, и все же бежали сломя голову к любой лужице, к любому колодцу. В канавах сидело на корточках все больше измочаленных

солдат, похожих уже не на людей, а на призраков . . . Им оставалось только провозжать взглядом уходящую колонну. Догоняли своих ночью, когда здоровые располагались на ночь в лесу или на лугу. Но в темноте как разобрать, где свои, а где чужие? Выкрикивали номера подразделений, кругом стоял жуткий гомон, невозможно было уснуть. Чтобы не потерять своих людей, мы установили полчасовые дежурства. Стоя на обочине, дежурный выкрикивал во тьме: «Латыши! Латыши!»

Когда спал наш доктор, ума не приложу. По ночам он обходил больных. Наутро хриплым от натуги и недосыпа голосом увещевал нас не пить грязную воду. И так ежедневно и еженощно. Лекарства тоже кончились. Однажды доктор остановил проезжавший мимо «студебеккер» и попросил у шофера лекарств. Русский вначале его не понял. Тогда врач нарисовал на пыльном капоте известный всему миру крест. До шофера наконец дошло. Он засмеялся. «Гитлер капут! Победа!» И, добавив еще что-то (мы не поняли его слов), газанул. По-лошадиному помотав головой, наш доктор постоял-постоял на дороге и поплелся к своим. «Мы еще держимся, ребятки. Это еще не дизентерия. Не пейте грязную воду. Грызите хвою, ешьте траву, только воды не пейте! . . .»

Местные жители словно испарились. Будто чума прошла по этим местам. Меня больше всего поражали пустые, заброшенные дома. Куда ни глянь — ни души. В поисках воды я и несколько моих товарищей забрели в одну хату. Во дворе разбросаны какие-то вещи: сломанная кровать, покореженная тачка, вспоротая подушка, летает птичий пух, ветер неспешно перелистывает страницы валяющихся на земле книг. В комнатах никого, все перевернуто вверх дном, загажено. Кучи дерьма прямо посреди глинобитного пола, на длинном кухонном столе. Мебели вообще нет, всюду только бумаги, битое стекло, растрепанные книги . . . У колодца надпись по-русски: «Мины!» Двери каменного хлева нарасташку, доносится омерзительно-сладковатый смрад: в навозе лежит дохлая чернопестрая корова с раздувшимся животом, шея обмотана привязью . . . Жуть . . . Солнце в зените, полдень. Ветер шелестит в раскидистой кроне старой липы, звенящая тишина . . . И смрад. И ржаное поле едва колышет-

ся за сараем. Пустое аистиное гнездо на дубу. Тишина, тишина . . . Мы пробыли здесь, может быть, минуту-две, но я уже никогда не забуду этот разор и эту смертельную, смердящую тишину. Словно вчера это было . . .

На поле мы отрывали едва завязавшиеся ржаные колосья. Рвали и запикивали за пазуху, ость больно кололась, но мы все равно не унимались, как будто вся наша дальнейшая жизнь зависела от того, сколько их успеем унести с собой. Колосья ведь можно жевать, высасывая зеленоватый сок, а это эликсир, это жизнь, обновление души и тела.

Отныне я знал, как выглядят вблизи пустые хаты. Жизнь ушла из этих добротных построек, оставив по себе сквозняки и дерьмо . . . Конечно, со временем тут снова заживут люди, хозяева вычистят все, починят, приведут в порядок и много лет спустя забудут, как встретило их старое, а может, новое жилье. И дети, что родятся в этой хате, никогда не услышат ту страшную тишину, и ветер унесет прочь навсегда тот зловонный смрад. В загаженных солдатней канавах будет расти густая травка, на ветвях истранных деревьев будут щебетать птицы. Так думал я, идя бывшим Польским коридором . . . Потом в газетах писали, что в эти места вернулись поляки, названия населенных пунктов снова стали звучать по-польски (а мне они запомнились по-немецки), и, вычитывая сегодня тот или иной польский топоним, я никак не могу понять, знакомо мне это место или нет и на той ли дороге, которой когда-то мы шли в полон . . . Не знаю, кто сейчас живет в той добротной хате, как именуют эту усадьбу люди и счастливы ли они . . .

Дни перепутались. Покрывая за сутки километров сорок, мы шли вот уже восьмой, нет, девятый, а может, и десятый день. Еды никакой, припасов ни крошки, а все идем, идем. Чеканный строй начинает ломаться и редеть. Многие уже и по ночам нас не догоняют. У иных стерты в кровь ноги. Пропотевшие портянки не простирнуть, эти задубелые тлеющие тряпки кое-кто уже и не разматывает, ложась спать. Наутро они встают раньше всех, чтобы размяться в дорогу, иначе затекшие ноги отказываются идти. Все чаще вспыхивают внезапные ссоры, люди сделались злыми и неуступчивыми, солдат постарше охватило какое-то зудящее

нетерпение. У нас, молодых, сил больше, поэтому мы иногда еще шутим, балуемся, дразним кого-нибудь из товарищей, помогаем друг другу, прикладывая к кровоточащим мозолям на подошвах свежие подорожники... Завидев в отдалении избу, мчимся туда, чтобы ревизовать овощной погреб. Иногда нам чертовски везет — находим горсть проросших картофелин. Весь день таскаем их с собой, чтобы на привале сварить самое вкусное блюдо в целом свете — картофельную похлебку. Соли нет, но до того ли? Картошку варим долго-долго, чтобы навар был зеленовато-мучнистый. Увы, счастливых вечеров все меньше. В голове колонны прочесывают погреба не хуже нашего, на долю задних достаются одни «вершки». Ложишься спать на голодный желудок, а утром так тяжело вставать, и гонишь от себя прочь мысли о сорока километрах под палящим зноем, которые тебя ожидают. Думаешь о вечернем отдыхе, а до него еще двенадцать-четырнадцать часов...

Вокруг по-прежнему ужасающая пустота и тишь. Когда-то — миллионы лет назад — в грохоте бомб и снарядов, под свист пуль я жаждал тишины, как прекрасного сна! Наступит мир, не будут гореть дома и целые города, люди не будут умирать на каждом шагу, не будут валяться трупы, как раздавленные под колесами кошки... В гуле обстрела или налета мне казалось, я свято верил в это, что как только прекратятся разрывы снарядов, мир тотчас изменится! Минуют первые послевоенные дни, люди без гнева и страха глянут друг другу в глаза и поймут — кончился самый жуткий на этом свете кошмар! Навсегда! И они пожмут друг другу руки и осознают, что отныне миром больше не правят генералы и адмиралы, полковники и майоры, лейтенанты и капралы, а солдат, которого посылали на смерть и посылали куда подальше, снова стал рабочим, крестьянином, студентом, учителем, художником... В тихий, мирный, летний душистый полдень бывшие воины, лежа в зеленой и мягкой траве, будут безмятежно глядеть в синее небо и гнать от себя прочь воспоминания обо всех ужасах, которые накануне ушли в небывшие... Гнать прочь... О, святая простота! Я шел с войны еще более наивным мальчиком, чем уходил на войну... Мучительно напрягаюсь, чтобы приблизиться к тем чувствам, что владели мною

в мае сорок пятого, когда будущее, слава Господу, было сокрыто от меня пеленой. Я ощущал одно — сплошное разочарование. Но на что же я надеялся? Увы, и сейчас не могу ответить. Весь мир воевал против Германии, все человечество проклиняло фашизм, но тогда я этого не знал. Мне казалось — вот закончится война, вернусь домой, суну мундир в подвал, облачусь в довоенный костюм, если он сохранился, и пойду... Куда же?.. Искать работу. Могу грузчиком, могу учеником электрика, какая разница... Постепенно в Лиепая вернутся рассеянные по свету коренные лиепайчане, повстречаю старых друзей, заведу новых, буду ходить на свидания со своей девушкой. Если она дождалась меня, мы будем счастливы, потому что я уже взрослый и многое повидал...

Разочарование... Разочарование в детской наивности. Да, небо над голой мирное, трава зеленая и мягкая, вокруг тишина... И только стук кованых сапог по асфальту, пересохшие губы и жажда, жажда. Жажда до тошноты, когда ни о чем другом не можешь думать, когда нет на свете ничего важнее ведра холодной воды. Ведро воды, в ледяных каплях влаги, мерещится, стоит перед глазами, фантом, мысли путаются, сумятица, все вокруг расплывается, перестаешь чувствовать кровавые мозоли на ногах. Окружающий мир отдаляется от тебя, становится призрачным, образ твоей девушки расплывается, исчезает, а хочешь ли ты ее, а существует ли она на самом деле... дом... да-да... и мать, жива ли она? Да, конечно, ведь у тебя есть мать, у тебя была мать... была и есть? И братья, и сестры, и белый песок морского пляжа... Учитель пения начальной школы давно умер... да-да, он погиб в рядах защитников Лиепая в июне 1941 года. Нет больше учителя пения, потому что он погиб в боях с той самой армией, в чьих мундирах мы шагаем теперь в плен. Учитель умер, но он победил в этой войне, хотя и не знает, что победил... За год до начала войны он играл на органе в церкви св. Анны, сопровождая октет мальчиков, распевующих на пустых церковных хорах про трели жаворонков. После урока пения мы, мальчишки, курили с ним на паперти. Я курил вместе со всеми, хотя и не выносил табачного дыма. Бедный учитель пения, он никогда не

узнает, как сложилась наша судьба, и это даже к лучшему — ведь он бы переживал за нас, потому что водил нас по вечерам в Оперу и наставлял, и звучали его наставления так: самый страшный грех человечества — бесчувственность, нежелание услышать ближнего, неумение понять его и простить. Учитель пения, тебя похоронили в Лиенау, потому что ты пал, защищая свой город. Погиб, стреляя из противотанковой пушки, у которой не было прицельного станка . . . Здесь, в Восточной Пруссии, на этой дороге, я дал себе клятву по возвращении в Лиенау разыскать могилу учителя Зундманиса и рассказать ему обо всем, что случилось с нами на этой войне . . . Могилы Зундманиса я не нашел до сих пор. Нет никого, кто мог бы указать мне место его погребения. Что же, дорогой учитель, вот оно, мое повествование, возможно, кое-что в нем вас заинтересует . . .

Поля пустынные. Озимые — земля тут плодородная — вымахали по грудь. Но где же люди? Неужто сбежали все до единого? Кто-то ведь должен был остаться. Помнится, в марте то тут, то там прорывались русские танки. Прямо с неба падали и, натужно ревя, громыхая гусеницами, прошивали насквозь деревни и скрывались за горизонтом. А в деревнях и поселках, на центральных площадях, стояли наготове нагруженные доверху беженские подводы, стояли в ожидании отправки на запад. Прежде чем хлыбнуть кнутом лошадей, сдвинуть с места колонну беженцев, требовался приказ старосты — удар церковного колокола или иной сигнал. Немецкая дисциплина, которой я не устаю поражаться, подчас граничила с тупоумием. Другого слова не нахожу. Все готово: поклажа на месте, дети плачут, коровы мычат, невдалеке трещат пулеметы, а беженцы стоят неподвижно на вымощенной брусчаткой площади. Ждут приказа. Ждет и бургомистр — распоряжение сверху еще не поступило. Мы в таких случаях хватили винтовки и лопаты — и в кусты . . . Через полчаса-час вошедшие в селение русские заставали немую сцену — беженцы и подводы все еще на площади, ввиду отсутствия циркуляра . . .

Поэтому у меня не было сомнений, что сбежать успела лишь малая часть населения. Где же остальные? Почему вымерли деревни и поселки? Неужели, прочесав всю округу, выслали лю-

дей . . . куда? Ответ у меня один — на просторы России . . . Другого ответа не знаю (позже, на Севере, я встречал женщин из этих мест). Один случай ненароком укрепил меня в моих подозрениях.

Был теплый дождливый вечер. Мы только отшагали положенную дневную норму и, растянувшись на мокром лугу, с наслаждением мочили в траве сбитые в кровь ступни, давали ногам отдых. В кошелки, фляги, пластмассовые масленки, в первые попавшиеся емкости набирали дождевую воду для питья.

Мы снова и снова шарили по своим сумкам в надежде найти хотя бы заваляющийся кусочек хлебца, но напрасно — все съедено. До самой темноты бродили по лугу и рвали щавель. Пересохший выдирали с корнем и складывали в пучки — завтра будет чем заморить червячка.

Люди отныне группировались по общности взглядов и поступков. Скупердяи — сами по себе, те, кто постарше, — своим кружком, молодежь — отдельно. Раздобывший съестное делился с остальными. Группки были маленькие — человек пять-шесть. Интуитивно мы понимали, что так легче бороться с голодом и болезнями — стоять друг за друга, пока . . . Да, потаенная мысль о худшем посещала, наверное, каждого, но вслух ее не высказывали — юность стесняется говорить о самом ужасном, предпочитает хранить эту думу в себе, и только грустный взгляд, легкий наклон головы, внезапная бледность выдают скрытое страдание . . .

Только бы не понос! Минуй нас пуще всех печалей! Наш первый враг, о котором неотвязно думаешь, отходя ко сну. Понос — это конец. Отставший от колонны обречен на скорую встречу с тем, невысказанным . . .

Не успели мы улечься на боковую, как до наших ушей донеслось жалобное коровье мычание и топот копыт. Во тьме перекликались русские голоса, мычал скот, и густое, тяжелое дыхание стада почему-то напоминало мне гул моря после бури . . . Как, откуда взялись те тысячи черно-пестрых коров на огромном лугу? Они ходили взад-вперед, щипали траву, жевали, издавали похожие на скулеж звуки, словно хотели о чем-то нам поведать. Но мы внезапно оказались посреди этого немислимо, невероятно пахнущего бесценным молоком стада, не понимали

их языка. Весь луг пропах молоком! В это не верилось, в этот забытый аромат пастушьего детства, и какое-то чудо — запаха навоза не слышно, его перебивает молочный дух!

Звякали солдатские котелки. Все, кто умел доить коров, напевая под нос, подходили к источающим вязкий фиамм животным. Те не бежали прочь. Мычали, вздыхали, ждали, чтобы их подоили.

... Горячее на ощупь вымя. Сухие, потрескавшиеся соски. Едва я до них дотронулся, корова вздрогнула от боли и стала лягаться, но какая-то neodолжимая власть удерживала ее. Я ходил в пастухах два лета. Точнее, полтора, потому что на второй год, сразу после Иванова дня, сбегал от хозяина. Тот был невероятно скуп. Я ударал на торфяное болото и там работал до начала школьных занятий. Родители меня обыскались, хозяин потребовал уплатить неустойку за расторжение договора, но отец прогнал его взашей и продолжал поиски по всей Латвии. Я хорошо знал, что ждет меня по возвращении домой, но до осени было еще далеко. Осенью, в Елгаве, у родителей, я получил-таки свое... В общем, коров доить мне не впервой, кончиками пальцев я поглаживал черно-пестрые потрескавшиеся соски. Мочил ладони в росистой траве и оглаживал соски снова и снова. Увы, молока ни капли. Я массировал вымя и мял его, но все напрасно. Тут до меня дошло, что эту корову, видно, уже никому не удастся подоить. Намучавшись еще с двумя-тремя, я наконец наполнил свой котелок. Меня обступили ребята с такими же «подойниками», и я наполнял, наполнял их душистым парным молоком, но... пить никто не решался. Призрак поноса стоял у нас перед глазами.

— Молока не пить! — во тьме долетал до нас голос доктора то с одного, то с другого конца луга — видать, дояров тут хватало... Текли слюнки, урчало в животе... Так и не попив молочка, мы легли спать. Всю ночь вокруг бродили мычащие коровы, но солдаты спали как убитые и некому было помочь несчастным

Попуту кто-то швырнул нам говяжью ляжку. Поделили ее по числу едоков. По крайней мере на ужин будет мясо вместо надоевшего шавеля.

А пеструхи все бродили по широкому лугу, и было их видимо-невидимо, до самого края неба. Они мычали и щи-

пали траву и снова мычали. Это было невыносимо, и я с нетерпением ждал расставания и с этим страшным лугом, и с черно-пестрым стадом.

На дороге наши остановили подводу, в которой сидели две девахи в платках, повязанных до бровей. Оказалось, с Украины, сопровождают скот. Немцы угнали их на работы в Восточную Пруссию, теперь возвращаются вместе со скотиной. Улыбаясь, они доверительно сообщили нам, что в стаде около двух с половиной тысяч голов, сопровождают же эту трофейную добычу шесть девчонок и один солдат. Доить? Разве можно выдоить такое множество коров! Нет, с этими «немками» все ясно — где-то там, впереди, в каком-то там городке есть скотобойня, вот всех и пустят под нож. Сотни две — меченые, этих доят ежедневно и берут с собой в Россию. Есть и быки... Молоко? Да, выливаем на землю, а куда ж его девать? Жалко? Да, жалко. Можно отдавать людям, но жители либо сбегали, либо увезены в далекие края. Крестьян тут нема. Пустыня.

Колонна тронулась с места. Девахи одарили нас на прощание ржаными сухариками. Шагая дорогой в никуда, я представил себе, как эти две украинские молодки слезут с мягкой соломенной подстилки и отправятся доить меченых коров. И выливать молоко на землю... На войне земля тучнее, но и после войны, удобренная молоком, тоже. Влажные тучные пашни...

Один из наших не удержался и выпил молока. Все чаще и все дольше приходилось ему теперь сидеть в придорожных лопухах. Бледный, потный, он с трудом нагонял нас и уже едва переставлял ноги. И вот мы, желторотые юнцы, вдруг припомнили то, в чем у нас не было и быть не могло никакого опыта. — в нас ожили древние поверья, народное знахарство!.. В детстве мать или бабушка давала малышу какую-то травушку-муравушку, какие-то коренья, приговаривая, рассказывая, как они называются и какие у них целебные свойства. Огольцу в одно ухо влетит, из другого вылетит. А тут как озаренье — и ворожейные заговоры, слышанные в раннем детстве, выплывают откуда-то из глубин подсознания. Ох, наука ты, наука! Как плохо мы знаем самих себя, слабо ориентируемся в том, что такое народная память, верования, ведовство, и какими путями опыт предков спускается к нам не из

прочитанных книг и не с экрана телевизора...

Ободрали мы кору с придорожного дуба и, поскольку воды для того, чтобы заварить чай, у нас, конечно, не было, дали нашему «молокососу» коры и велели жевать и глотать, не выплевывая. К вечеру у него с желудком все наладилось, а у каждого из нас в сумке появился кусок дерева.

— Все правильно, мальчики, — сказал наш доктор. Он уткнулся взглядом в носки своих пропыленных сапог. Он до смерти устал, и черпать силы было неоткуда. — Я ведь говорил, предупреждал. В наших условиях молоко пить нельзя. Иногда и дубовая кора не помогает, и приходится оставлять человека... — Он кивнул в ту сторону, откуда мы сегодня пришли.

— Что делают с теми, кто отстал? — нас разжигало любопытство.

— Немцы натворили немало мерзостей в этой войне. — Он разговаривал как бы с самим собой. — Ждать помощи и снисхождения от русских не приходится. И это логично. В одном заброшенном имении устроен сборный пункт больных. Говорят, там лечат. Если у кого и не было еще дизентерии, там он ее непременно подхватит...

Нас подмывало спросить, а что дальше? Но к чему задавать глупые вопросы. И так все ясно. Мне не довелось потом встретить ни одного из тех, кто мучился животом во время нашего похода. Это не значит, что все померли в тех лечебницах. Кто-нибудь да и выжил, но только они и могут рассказать о своей дальнейшей судьбе.

В мгlistом вечернем воздухе послышался аромат жаркого. Над опушкой, смешиваясь с туманом, вился дым от костров. Нас ожидал королевский ужин! Изголодавшиеся пленные глотали обжаренные куски мяса чуть ли не целиком, чавкая, урча и лязгая зубами.

— Ребята, только без глупостей! — обгладывая кость, предупредил доктор. — Главное — не переедать!

Мы доверяли этому человеку. И не потому, что до смерти боялись заболеть. В те нелегкие дни на Хеле он был с нами. Он оставался с нами и сейчас, и потом в лагере, пока не исчез из виду. Кто-то из латышей, из солдат, шепнул коменданту лагеря, что фамилия врача такая-то и такая-то, а человека с такой фамилией искали по всему свету, так как он в свое время в России творил

страшные дела. Опасно было иметь подобную фамилию, и наш доктор исчез из лагеря. Я встретил его в конце пятидесятих годов в коридоре хирургического отделения одной из рижских больниц. Он совсем не изменился, даже не поседел. Очень обрадовался встрече, интересовался перипетиями нашей судьбы. Мы вышли в больничный сад. Чужие уши нам ни к чему. «Слава Богу, — сказал он, выслушав меня, и горько усмехнулся. — Навероятно, сколько нам пришлось пережить. Навероятно... Да и теперь не легко. Многие, правда, очутившись на свободе, всю наслаждаются жизнью. Но кто вправе их в чем-то упрекнуть? Жаль только, что здоровье у человека одно. Сердце не выдерживает, нервы сдают... Как у тебя? Черти не мерещатся?» Я отвечал, что нет, не мерещатся. Тогда я еще не знал, что через пару лет меня снова начнут тягать на допросы и тыкать мне в лицо моим прошлым. К тому времени я стану известным в Латвии писателем, и упомянутые доктором черти не преминут явиться. Я ударюсь в запой. Буду пить год, два, изо дня в день, не напишу ни строчки и однажды вечером на берегу Даугавы только мысль о будущем моих детей удержит меня от рокового шага, в нескольких метрах от кромки воды. Но до этого еще надо было дожить, дожить до той поры, когда старые друзья будут уверены, что «счастливчику Эгону ох как повезло...» Я спросил у доктора, как обошлось с ним. Он не был настроен вдаваться в длинные разговоры. «Слегка пытали... Наставили парочку синяков, выбили зуб, а убедившись, что я не тот, кого они ищут, отпустили и с первым же поездом отправили в Ригу... Конечно, надо бы все забыть. Надо бы. Время было такое, обижаться не на что. Кто бы стал с нами церемониться в те дни? Я их понимаю. И нашего стукача тоже понимаю. Но понять — не значит простить. Таким людям не прощают. Теперь я уважаемый врач. Хорошие хирурги нужны везде и всюду. Я хороший хирург (он назвал свою специальность), и пока у меня никто не спрашивает, где я был в сорок четвертом и сорок пятом. За мной посылают самолет из Москвы... Такие вот дела, старина. А ты, я слышал, сделался морским волком?»

Мы больше не встречались с того раза. Читаю иногда о нем в газетах,

вот и все. Он не знает, что я писатель, потому что свои произведения я подписываю псевдонимом. А не мешало бы встретиться. Ох, не мешало!

... Мы приближались к какому-то городку. Колонна все чаще останавливалась, паузы затягивались. Замелькали красноармейцы. Штатских по-прежнему не видно. На перекрестках не стоят регулировщицы с флажками. Дорожные указатели пестрят русскими надписями: до Берлина столько-то километров, до Москвы — столько-то. Вот он, российский масштаб... Потом я узнал, что надписи насчет расстояния до Берлина начали появляться уже в Сталинграде. Каким упорством, настойчивостью, даже фанатизмом должны обладать воины, чтобы ежедневно, теряя тысячи боевых товарищей, ценой крови и жизни метр за метром укорачивать тысячекилометровую даль до Берлина...

С обочин до нас вновь доносится воркование: «ур, ур...» Что случилось с этими людьми? Невольно подумаешь, что они воевали того лишь ради, чтобы завладеть трофейным бараклом, и в этом списке на первом месте часы. Сейчас я, конечно, вижу все в ином, гораздо более реальном свете, но тогда нам трудно было удержаться от смеха.

День уже клонился к вечеру, а мы не прошли и пяти километров — значит, в ближайшие часы в опостылевшем марш-броске что-то должно измениться. В сумерках явился вестовой и затребовав по два человека от каждой роты в авангард батальона. Мы хватали вестового за рукав, стараясь выяснить, что с нами будет и куда нас привели, но он только отмахивался от назойливых вопросов. Потный, усталый, ординарец тупо смотрел на нас бессмысленным взглядом. Пришлось его отпустить, так ничего и не добившись. Двое из нашей роты отправились по вызову, а мы в арьергарде залегли, не снимая ранцев, на обочине, и устали к закату неба. Где-то поблизости свистели локомотивы, стучали на стыках колеса. С приближением ночи звуки сделались яснее и резче, и у нас уже не оставалось сомнений, что мы находимся неподалеку от железнодорожного вокзала, а значит, в предместье какого-то города. Какого? Карты у нас нет и спросить не у кого. Машины проносились по шоссе не останавливаясь.

Вернулись из «штаба» те двое. «Жрачка, налетай!» — кричали они уже издали. Но нас в тот момент больше интересовало другое.

Мы обступили посыльных. Ночевка — здесь. Через пару километров — лагерь военнопленных: командиры подразделений несут личную ответственность за то, чтобы прохождение в лагерь было четко организовано — по полкам, батальонам, ротам и т. п. Каждый командир головой отвечает за своих подчиненных. В отношении латышшей спецраспоряжение: пребывание в лагере ограничивается несколькими днями до прихода эшелона, на котором нас отправят в Латвию («ура, ура!»). Город, в котором расположен лагерь, называется, кажется, Эйлау. (Ликованье.) К штабу батальона подвезли тушу подвинка. Кинули на дорогу. Больше ничего. Тушу разделили на три части. Нам дали треть. Теперь поделили на взводы и отделения...

Для ясности: в батальоне около 450 человек, по 150 в каждой роте, состоящей из четырех взводов по 20—25 человек, в каждом взводе три отделения, насчитывающие по 7—8 солдат.

Какая уж там дележка в эту безумно радостную майскую ночь, когда все мысли о доме, только о доме! Кто-то пытается нас образумить — дом домом, а еда едой, но мы просто ошалели от счастья — значит, все-таки домой! Та армия, чью форму мы носим, войну (слава Богу) проиграла, но справедливость восторжествовала! Разве это не справедливо — мы едем на родину! Черт побери, это что-нибудь да значит после всего того ада, что нам довелось пережить!

Восьмерым достался окровавленный кусок мяса с костью. Ах, не все ли равно! Кто-то ругался, кричал, что кость несъедобна — какая разница... Я в этом пиру не участвовал. Отшел от дороги подальше, освободился от заплочных ремней, разулся и прислонился к какому-то кусту. Где-то вдали звенели голоса, мерцали бесчисленные костерки, грохоча прошел поезд... а надо мной тишина и какой-то едва уловимый запах, от которого вдруг защемило сердце. Неужто жасмин? Да, пахло жасмином... Но жасмин пахнет куда острее, если ты три года не был дома, если ты прошел дорогами самой ужасной в истории человечества войны и остался жив. В ту ночь я впервые не столько понял, сколько ощутил всей

кожей, что страшный бредовый сон действительно кончился. И это пахнет жасмин, а надо мной такой же небесный купол, что раскрыт над Лиелаеи, над Латвией. . . О том, что мир велик и в Японии еще воюют, я не задумывался. Все мои мысли уносились по звездному небосклону туда, в ставшую вдруг такой близкой родину.

Через какое-то время со мною рядом плюхнулся в траву Крумс. Он чего-то долго сопел и стонал. Потом пригласил отужинать. Нам досталась, по его словам, «вторая фаланга» задней ноги. Кость со вкусом. Я отказался. Крумс, чавкая, обгрыз кость и чертыхнулся.

— Гады. . . Впервые за двадцать дней кинули какие-то объедки. Как собакам. . . Да что я, собаки уже давно бы подошли. Просто удивительно, что мы еще дышим. У тебя соли не найдется? . . . Спасибо. . . Может, пожуешь все-таки? Ах ты, дьявол. . . Ты веришь в то, что нас отправят домой? Я — ни капельки. В сорок первом они невинных людей отправляли в Сибирь, а нас. . . Н-да, господа фашисты, пожалте-ка в салон-вагон, отдохните, до Риги путь неблизкий. . . Убей меня, Эгон, я в это не верю и не поверю никогда. У них другое на уме. С немцами просто — ты военнопленный и подыхай, коли хочешь. С нами, браток, другое дело. С нас кожу живьем сдерут. . . Мы ведь в сорок первом за ними не пошли. Ты увидишь, они еще сделают из тебя убийцу и громилу, изобразят как надо. Наплевать им на то, что мы солдаты. В окопах сидел? Сидел. В них стрелял, когда они шли на тебя черной тучей? Стрелял. В плен сдался? Не сдался. А эсэсовский знак? Русские боялись его больше смерти, эсэсовцев в плен не брали и пристреливали на месте, не спрашивая, кто ты и откуда, и почему на тебе эта униформа. А то, что ты ее надел не по своей воле, на это им начхать. Нет, Эгон. Война, которую мы пережили, это детские игрушки в сравнении с тем, что нам предстоит. . .

По правде, я об этом задумывался, и не раз. Мои умозаключения мало чем отличались от крумовских. И все же. . . К чему тогда было упоминать о Латвии? Нет, нет, с нами все будет по-другому. Так я сказал Крумсу, и мне хотелось верить в это. Очень хотелось.

Уже с утра солнце палило немилосердно, во рту сразу же пересохло,

мучила жажда. А вокруг — плоская равнина, до самого горизонта. Сущее мученье — натянуть сапоги на опухшие, едва привыкшие к сухой траве ноги. Ощущение такое, что ты вталкиваешь в задубелый сапог ногу, с которой содрана вся кожа, это кусок мяса с обнаженными нервными окончаниями и жгучая ноющая боль. Такая боль способна довести человека до отчаянья, обессилить. А ведь ног-то две, и левая болит не меньше правой.

Первые десять лет самые трудные, шутили мы, медленно, шаг за шагом, продвигаясь к цели. Разойтись было нелегко, но едва унялась боль в ногах, замучила жажда. Мотая головой, словно это могло прогнать жажду, мы тащились из последних сил и сами удивлялись, как еще держимся. Так нестерпимо хотелось пить, что в голову ударила шальная мысль — в ранце припрятана бутылка водки, не раздавить ли ее вместе с Крумсом, как-никак влага. У меня даже горло сдавило от предвкушения, но Крумс охладил мой пыл: «Один стаканчик — и с копыт. Сердце может не выдержать. Лучше не надо. Потерпи!». Бутылку мы не распечатали, и правильно сделали — потом она очень нам пригодилась в трудную минуту. . .

Колонна взошла на пригорок, и перед нами распахнулась выжженная на солнце скворода, огражденная колючей проволокой. Лагерь до самого горизонта! За оградой копошились сизые человеческие фигурки, казалось, что ими усеяна вся желтая, в несколько сот квадратных километров песчаная площадь. Над лагерем колыхалась зной. «Сахара», — сказал кто-то и попал в точку. Часовые на вышках, множество вышек. Слева от лагеря небольшой железнодорожный узел, составы на путях, а город-то рядом, за лесом. Теплый ветер доносит до пригорка смрад испарений и еще какую-то вонь — как потом оказалось, со скотобойни. Что ж, это символично, подумал я, вспомнив многоголовое коровье стадо, идущее за нами следом.

По колонне пронесся предупреждающий шепоток: «Внимание! Возможен обсык. У ворот тотальная проверка!»

Я быстро перебрал в уме содержимое своего ранца: пара носков, белье, несколько фотографий, два заполненных короткими заметками дневника. . . одна пустая общая тетрадь, что там

еще? Бутылка шнапса!.. Хрен с нею! Отберут... пускай отбирают.

Чем ближе мы подходили к воротам лагеря, тем чаще останавливались. Паузы делались все длиннее.

— Не хочется что-то по собственной воле лезть в этот капкан, — сказал шагавший со мною рядом Крумс. — Мерзкое ощущение. Может, рванем? Времени ещё достаточно.

Я огляделся — справа пропыленный ольшаник, слева — небольшой пустырь с высохшей травой и железнодорожной насыпью, за спиной — нескончаемая колонна пленных, впереди — лагерный забор с распахнутыми настежь воротами, опутанными колючей проволокой. В нос шибает хлоркой, которой щедро посыпаны уборные. У входа стоят «виллисах» офицеры, считают по головам и каждую сотню пленных помечают палочкой. Двое солдат в выгоревших гимнастерках, с азиатскими чертами лица, раскосыми глазами застыли с автоматами наперевес. Нет, пытаться бежать — чистое безумие. Авангард нашего батальона уже окутан хлорным запахом и серыми клубами зноя. Сначала через ворота проходят

офицеры, потом первая рота... Сомкнутым строем, с высоко поднятой головой, строевым шагом... Только песни не хватает. Что это? Протест? Гордыня? Видимо, чувство собственного достоинства, вот ведь и наша рота, приблизившись к воротам, переходит на строевой шаг. Ни приказов, ни команд. Чеканя поступь, как на параде, мы вступаем на территорию лагеря. Но тут строй сразу же распадается, под ногами хрустит песок, точнее, утрамбованная желтоватая мука, песчаная пыль забивается в ноздри, попадает в рот. Силы на исходе, мы еще идем по инерции, низко опустив головы, но неудержимо тянет лечь тут же, на песок, и неподвижно застыть, ни о чем не думая. Латвия? Скорое возвращение на родину? Так все это далеко и недостижимо, что хочется выть с отчаяния. Какой уж тут дом!.. Достаточно бросить взгляд на эту стотысячеголовую толпу, где наш латышский батальон — песчинка в котловане гравийного карьера... Все. Кончился трудный, начавшийся против нашей собственной воли, омраченный не одной смертью этап нашей молодой жизни. Что дальше?

## Документы эпохи

# СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ИОАХИМ ФОН РИББЕНТРОП

### ВИДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ ДОПРОСА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ III РЕЙХА ИОАХИМА ФОН РИББЕНТРОПА НА ПРОЦЕССЕ ГЛАВНЫХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ В НЮРНБЕРГЕ

Девяносто пятый день.

Суббота, 30 марта 1946 года.

**Вопрос.** В сентябре 1938<sup>1</sup> года вы вторично посетили Москву. Какова была причина визита и что обсуждалось в его ходе?

**Ответ.** Мое второе посещение Москвы было вызвано окончанием Польской кампании. Я вылетел в Москву в конце сентября, и на этот раз меня ожидал особенно сердечный прием. Мы должны были прийти к определенному соглашению относительно Польши. Советские войска оккупировали восточные районы страны, а мы оккупировали западную часть до ранее оговоренной

демаркационной линии. На этот раз мы должны были зафиксировать точную линию демаркации. Мы также стремились укрепить наши связи с Советским Союзом и установить с ним сердечные отношения.

В Москве было заключено соглашение, окончательно определяющее линию демаркации в Польше, и началось заключение экономического договора, ставящего экономические отношения на совершенно новую основу.

Предусматривалось заключение всеобъемлющего договора, регулирующего обмен сырьевыми ресурсами, который и был заключен в дальнейшем. В то же самое время этот пакт, как известно, перерос в договор о дружбе.

Оставался вопрос о Литве. Ради установления между Москвой и Берлином

<sup>1</sup>Так в тексте, но это явная опечатка: Риббентроп был в Москве в 1939 г.

отношений, основанных на доверии, фюреротказался от притязаний на сферу влияния в Литве, предоставив на основе второго договора преобладающее влияние в этой стране России. Так что в результате полное взаимопонимание между Германией и Советской Россией установилось также в отношении территориальных притязаний.

**Вопрос.** Верно ли, что 15 июня 1940 года после предъявления ультиматума русские оккупировали всю Литву, включая ту часть, которая была немецкой, без уведомления Германии?

**Ответ.** У нас не было специального соглашения по этому поводу, но хорошо известно, что эти районы были фактически оккупированы.

**Вопрос.** Какие дальнейшие действия русских вызвали беспокойство Гитлера в отношении позиции и намерений России?

**Ответ.** Различные факторы вызвали несколько скептическое отношение фюрера к позиции России. Во-первых, только что упомянутая мною оккупация Балтийских государств. Во-вторых, оккупация Бессарабии и Северной Буковины после Французской кампании, о чем нас просто известили, без какого-либо предварительного уведомления. В то время к нам обратился за советом король Румынии. Фюрер, проявляя верность советскому договору, посоветовал ему согласиться с требованиями русских и эвакуировать Бессарабию. К тому же война с Финляндией в 1940 году вызвала определенное беспокойство немецкого народа, испытывавшего дружеские чувства к финнам. Фюрер считал себя обязанным в некоторой мере принять это во внимание. Следовало учесть еще два фактора. Первый заключался в том, что фюрер получил донесение о коммунистической пропаганде на фабриках Германии, в котором утверждалось, что якобы центром этой пропаганды является русская профсоюзная делегация. Мы также слышали о военных приготовлениях, предпринимаемых в России. Я знаю, что после Французской кампании он несколько раз говорил со мной по этому поводу и сказал, что вблизи границы с Восточной Пруссией сконцентрировано около 20 русских дивизий и что очень крупные силы — я даже помню цифру, около 30 корпусов — запланировано сконцентрировать в Бессарабии. Фюрера встревожили эти донесения, и он просил меня пристально

следить за ситуацией. Он даже сказал, что, вероятно, пакт 1939 года был заключен с единственной целью — получить возможность для экономического и политического диктата в отношении Германии. Во всяком случае, теперь он предлагал принять контрмеры...

**Вопрос.** В ноябре — точнее, с 12 по 14 ноября 1940 года русский комиссар иностранных дел Молотов посетил Берлин. По чьей инициативе происходил визит и что являлось предметом обсуждения?

**Ответ.** Переговоры с Молотовым в Берлине касались следующего: я мог бы добавить, что, пытаясь достичь договоренности с Россией по дипломатическим каналам, на исходе осени 1940 года я написал, с согласия фюрера, маршалу Сталину и пригласил Молотова посетить Берлин. Это приглашение было принято, и в разговоре между фюрером и Молотовым обсуждался весь комплекс русско-германских отношений. Я присутствовал на этом обсуждении.

Молотов сначала обсуждал с фюрером русско-германские отношения в целом, а потом упомянул Финляндию и Балканы. Он сказал, что Россия имеет жизненно важные интересы в Финляндии. Он сказал, что при определении сфер влияния было условлено, что Финляндия войдет в сферу влияния России. Фюрер ответил, что у Германии также обширные интересы в Финляндии, особенно в отношении никеля, и более того, не следует забывать, что весь немецкий народ сочувствует финнам. Поэтому он попросил бы Молотова прийти к компромиссному решению по этому вопросу. Эта тема поднималась несколько раз...

**Вопрос.** Не явилась ли причиной приглашения Молотова в Берлин оккупация русскими территории на Балканах, а также Балтийских государств?

**Ответ.** На Балканах — нет, так как там была зона русской оккупации. Но это относилось к Бессарабии, которая не является, в строгом смысле, балканской страной. Это относилось к оккупации Бессарабии, которая произошла с удивительной скоростью, и к оккупации Северной Буковины, которая согласно московским переговорам не должна была попасть в сферу русского влияния, и которая, как сказал тогда фюрер, на деле является исконной землей австрийской короны, — и к оккупации балтийских территорий. Это дей-



**Я ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ В КРЕМЛЕ СЛОВНО СРЕДИ СТАРЫХ  
ПАРТИЙНЫХ ТОВАРИЩЕЙ**  
*(И. фон Риббентроп в беседе с итальянским министром иностранных дел Чиано 10 марта 1940 г.)*

ствительно вызвало озабоченность фюрера . . .

**Вопрос. Почему в ходе русской кампании вы предложили Гитлеру заключение сепаратного мирного договора?**

**Ответ.** В Москве между русским правительством и нами — между Сталиным, Молотовым и мною, а также, в некоторой степени, фюрером — установилась атмосфера доверия. Например, фюрер сказал мне, что он с доверием относится к Сталину, которого считает одним из воистину великих исторических деятелей и чьим величайшим достижением является создание Красной Армии; но трудно предугадать, что может случиться. Мощь Советов возросла и стремительно наращивалась. Трудно было представить, как вести теперь дело с Россией, и как вступать с нею снова в соглашение . . .

#### Девяносто шестой день

Понедельник, 1 апреля 1946 года.

**Д-р ЗЕЙДЛЬ** (защита Гесса и Франка).

**Вопрос.** Свидетель, преамбула к секретному пакту, заключенному между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 года, звучит приблизительно так: «Ввиду существующей в настоящее время напряженности в отношении между Германией и Польшей, в случае конфликта заключается соглашение о следующем . . .»

Не помните ли вы, так ли приблизительно звучала преамбула?

**Ответ.** Я не помню дословно, но приблизительно так.

**Вопрос.** Верно ли, что глава Юридического отдела Министерства иностранных дел посол д-р Гаусс участвовал в качестве юридического советника в переговорах в Москве 23 августа 1939 года?

**Ответ.** Посол Гаусс частично участвовал в переговорах и вместе со мной составил проект соглашения.

**Вопрос.** Сейчас я прочту выдержку из заявления посла Гаусса и задам вам несколько вопросов по этому поводу.

**Председатель.** Да, генерал Руденко?

**Генерал РУДЕНКО.** Я не знаю, господин председатель, какое отношение имеют эти вопросы к обвиняемому Гессу, защитником которого является д-р Зейдль, или к обвиняемому Франку. Я не желаю обсуждать это заявление, так как не придаю ему никакого значения. Я лишь хочу привлечь внимание

трибунала к тому факту, что мы здесь расследуем не вопросы, связанные с политикой союзных держав, а расследуем обвинения против главных немецких военных преступников, и подобные вопросы со стороны защиты являются попыткой отвлечь внимание трибунала от предмета расследования.

Поэтому я считаю самым правильным отклонять вопросы такого рода как несущественные.

(Консультация между членами трибунала.)

**Председатель.** Д-р Зейдль, вы можете задать ваши вопросы.

**Вопрос.** В третьем параграфе своего заявления Гаусс утверждает:

«Самолет министра иностранных дел Рейха, которого я должен был сопровождать в качестве юридического советника в предстоящих переговорах, прибыл в Москву в полдень 23 августа 1939 года. Во второй половине того же дня состоялись первые переговоры между Риббентропом и Сталиным, на которых с немецкой стороны кроме министра иностранных дел Рейха только присутствовал в качестве переводчика советник посольства Хилгер и, возможно, также посол граф Шуленбург, но не я. Министр иностранных дел Рейха вернулся после переговоров удовлетворенным и заметил, что он почти уверен, что переговоры завершатся соглашением, к которому стремится Германия. Продолжение переговоров, на которых будет закончено обсуждение и подписаны документы, планируется на вечер того же дня. Я лично участвовал, а также посол граф Шуленбург и советник посольства Хилгер. С русской стороны переговоры велись Сталиным и Молотовым, переводчиком был Павлов. Соглашение по тексту советско-германского договора о ненападении было достигнуто быстро и без затруднений.

Фон Риббентроп сам встал в преамбулу соглашения, которое я составил, довольно далеко идущую фразу относительно установления дружественных германо-советских отношений, против которой Сталин возразил репликой, мол, Советское правительство не может так внезапно представить общественности германо-советские заверения в дружбе после «ушагов грязи», вылитых на них нацистским правительством за шесть лет. После чего эта фраза из преамбулы была изъята или заменена.

Кроме пакта о ненападении некоторое время продолжались переговоры по отдельному секретному документу, который, насколько я помню, назывался «секретным соглашением» или «секретным дополнительным соглашением», условия которого были направлены на разграничение общих сфер влияния на европейских территориях, расположенных между обеими странами. Использовалось ли выражение «сферы влияния» или другие подобные выражения, я не помню. В этом документе Германия заявляла, что она не имеет политических интересов в Латвии, Эстонии и Финляндии, но считает частью своей сферы влияния Литву.

В отношении политической незаинтересованности Германии в двух вышеупомянутых Балтийских государствах возникла полемика после того, как министр иностранных дел Рейха, согласно полученным инструкциям, хотел исключить некоторую часть балтийской территории из сферы этой политической незаинтересованности, что, однако, было отклонено советской стороной, в первую очередь из-за незамерзающих портов на этой территории.

Из-за этого пункта, который, очевидно, обсуждался во время первой встречи, министр иностранных дел заказал разговор с Гитлером, который был предоставлен только во время второй встречи, и в ходе личного разговора с Гитлером он был уполномочен принять советскую точку зрения. Линия демаркации была установлена для польской территории. Я не помню, была ли она очерчена в документе. Более того, в отношении Польши было достигнуто соглашение о том, что обе державы будут действовать согласнo обоюдному соглашению в окончательном урегулировании вопросов, относящихся к этой стране. Однако, возможно, это последнее соглашение по Польше было достигнуто только после изменения, упомянутого позже в пятом параграфе секретного соглашения.

В отношении Балтийских стран подтверждалось, что Германия сохраняет там только экономические интересы. Пакт о ненападении и секретное соглашение были подписаны довольно поздно в тот же вечер».

Свидетель, в заявлении Гаусса упоминается пакт, согласно которому обе державы обязуются действовать сообща для окончательного урегулирова-

ния вопросов в отношении Польши. Было ли такое соглашение уже достигнуто 23 августа 1939 года?

Ответ. Да, это верно. Это было время серьезного обострения германо-польского кризиса и, несомненно, этот вопрос тщательно обсуждался. Я бы хотел подчеркнуть, что ни у Сталина, ни у Гитлера не было ни малейшего сомнения в том, что, если переговоры с Польшей ни к чему не приведут, территории, которые были отвоены у двух великих держав при помощи оружия, могут также при помощи оружия быть возвращены. В соответствии с этим соглашением восточные территории были оккупированы советскими войсками, а западные территории — немецкими войсками после победы. Одно несомненно: Сталин никак не может обвинить Германию в агрессии за ее действия в Польше. Если это считается агрессией, то в ней повинны обе стороны.

Вопрос. Была ли в этом секретном соглашении демаркационная линия просто описана словами или начертана на карте, прилагаемой к соглашению?

Ответ. Демаркационная линия была приблизительно проведена на карте. Она проходила вдоль рек Рыси, Буг, Нарев и Сан. Эти реки я помню. Это была линия демаркации, которой предстояло придерживаться в случае военного конфликта с Польшей.

Вопрос. Верно ли, что на основе этого соглашения не Германия, а Советский Союз получал большую часть Польши?

Ответ. Я не знаю точных пропорций, но, во всяком случае, по этому соглашению территории к востоку от этих рек должны были перейти к Советской России, а территории к западу от них должны были быть оккупированы немецкими войсками.

Вопрос. Теперь другое. Вы заявили в прошлую пятницу, что вы хотели, чтобы Россия присоединилась к Тройственному союзу. Почему этого не случилось?

Ответ. Этого не случилось из-за требований России. Требования России казались... Пожалуй, сначала мне следует сказать, что я договорился с Молотовым в Берлине продолжить переговоры через дипломатические каналы. Я хотел попытаться повлиять на фюрера относительно уже высказанных Молотовым в Берлине требований, чтобы можно было бы прийти к какому-либо соглашению или компромиссу.

Затем Шуленбург прислал нам доклад из Москвы с требованиями русских. В этом докладе было, в первую очередь, уже известное требование в отношении Финляндии. На это фюрер, как известно, сказал Молотову, что он не желает того, чтобы после зимней кампании 1940 года разразилась еще одна война на севере. Теперь это требование опять поднималось, и мы полагали, что это будет означать оккупацию Финляндии. Это было трудно, так как это было то требование, которое фюрер уже отклонил. Другое требование русских касалось Балкан и Болгарии...

... Затем, в третьих, требование России выхода к морю и военных баз на Дарданеллах; и затем просьба, кото-

рую Молотов мне уже высказал в Берлине, обеспечить каким-то образом по крайней мере влияние в выходах в Балтийское море. Молотов сам говорил мне в то время, что Россия также очень заинтересована в Скагерраке и Каттегате.

В то время я подробно обсудил эти требования с фюрером. Он сказал, что нам придется связываться с Муссолини, которого очень интересовали некоторые из этих требований. Мы это сделали. Но Муссолини не поддержал требований Балкан и Дарданелл. Что касается Болгарии, я уже говорил, что она тоже не хотела этого, а что касается Финляндии, то ни Финляндия, ни фюрер не хотели пойти на эти требования Советского Союза.

**Публикуется по книге «Суд над главными немецкими военными преступниками. Судебные протоколы Международного военного трибунала, заседавшего в Нюрнберге, Германия. Часть 10, с 23 марта 1946 года по 3 апреля 1946 года. Копия официальной стенограммы», изданной в Лондоне в 1947 году.**



Лия Динере. Владычица (1987). Победитель (1987)

Александр ПОРТНОВ

## МИЛИТАРИЗМ

... Поздно будет пособить человечеству, когда не могут быть пощажены не только никто, но и женщины и невинные младенцы; и за то Вы и все чиновники перед Богом ответ дать должны.

Генерал-Аншеф и кавалер Граф Суворов-Рымникский коменданту Измаэла. Декабря 7-го дня 1790 года

... Что делят между собой озверелые псы, сбившиеся в ревуший клубок грязной шерсти на пыльной дороге? Разве им не хватает земли, воды, воздуха? Может быть, ими движут некие высшие интересы? Как оценить самоубийственную извечную политику человечества, предпочитающего гибель совместному процветанию?

Как следует из научных монографий и школьных учебников, изданных в СССР, практически все войны, которые вела наша страна, относились к справедливым и освободительным, тогда как наши противники предпочитали вести войны несправедливые и захватнические. Разумеется, эта истина, подобно неконвертируемому рублю, имеет хождение исключительно в пределах собственных границ, а в иных странах меняется на свою противоположность, столь же убедительно доказываемую историками, философами, писателями и журналистами.

Ныне нам ближе точка зрения, считающая войну как средство взаимоотношения государств и народов вообще безнравственной. Но поскольку понятие нравственности также не имеет точно очерченных контуров, мы хотели бы на исторических примерах показать, во-первых, что милитаризмом, как гриппом, болеет все человечество, независимо от границ, а во-вторых, под-

черкнуть опасность осложнений этой болезни, выражающихся в нищете и деградации.

Милитаризм, как гигантская раковая опухоль, высасывает из пораженной страны все жизненные соки. На Руси накалом военных страстей выделяется эпоха Ивана IV (Грозного): затяжные войны с Ливонией, Казанью, походы на Новгород, разгул тайной полиции — опричнины... Результат? По данным профессора О. В. Ключевского, в 1584 году, когда Иван Грозный скончался, Россия производила лишь 10% от уровня производства середины XVI века, когда Грозный начинал свою деятельность. По образному выражению О. В. Ключевского, Ивана Грозного «можно сравнить с тем ветхозаветным богатырем (Самсоном. — А. П.), который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели».

Некогда богатая, процветающая Россия стала нищей и полупустынной, население разбежалось, и даже Борис Годунов, незаурядный государственный деятель, настоящий «перестройщик» той эпохи, не сумел вывести страну из морального и экономического кризиса, который завершился в начале XVII века иностранной интервенцией

и поставил под вопрос само существование России.

Как это ни парадоксально, но шведам надо было бы поставить памятник не только Карлу XII, но и Петру I. Потому что именно разгром шведского войска под Полтавой в 1709 году и Ништадтский мир 1721 года, по которому Швеция лишалась всех своих завоеваний на континенте, закрыли этой стране путь к малообоснованным и дорогостоящим притязаниям на ведущую роль в европейской политике. А ведь «Великая Швеция» могла включить в себя часть Польши, Германии, Белоруссии, Украины, России, растрачивая все силы в попытке удержать захваченное... Будучи побежденной, Швеция в 1814 году официально заявила о своей политике нейтралитета. Теперь это государство являет собой убедительный пример того, что мудрая политика нейтралитета и невмешательства в чужие дела способствует процветанию неизмеримо надежнее, чем переменчивая фортуна «справедливых» или «несправедливых» войн.

А вот демилитаризации России победа над шведами ни в коей мере не способствовала. По выражению О. В. Ключевского, «поколение, которому достался Петр, работало не на себя, а на государство, и после усиленной и улучшенной работы ушло едва ли не беднее своих отцов». Русский обыватель прозябал под копытами «медного всадника»: победоносные войны укрепляли существующий порядок, губили критическую мысль. Не случайно разгром Наполеона Бонапарта завершился созданием в 1815 году реакционнейшего Священного союза, объединившего монархов Европы в попытке «законсервировать» существующий порядок; Россия превратилась в арачьевскую казарму.

В этой удушливой атмосфере даже среди лучших представителей интеллигенции России преобладали ура-патриотические настроения. Великий Пушкин — и тот не смог их избежать...

В 1844 году известному русскому поэту Ф. Тютчеву захотелось выразить геополитического содержания. Ведь Тютчев был еще и государственным чиновником высокого ранга, близким к Николаю I. А Николай I, разгоняя самоуверенность на воспоминаниях о дедовских победах и разгроме польских повстанцев, был искренне убеж-

ден в своем праве диктовать миру свою волю. Ну, Впрочем, не всему миру, а лишь его части... Какой именно? Эту часть, на которой могла претендовать Россия, услужливо очертил Тютчев:

Москва, и град Петров, и  
Константинов град —  
Вот царства Русского исконные  
столицы.  
Но где его предел и где его границы  
На Север, на Восток, на Юг и на  
Закат?  
Так в будущем судьбы ему  
определят:  
Семь внутренних морей и семь  
великих рек,  
От Нила — до Невы, от Эльбы —  
до Китая,  
От Волги — по Евфрат, от  
Ганга — до Дуная.  
Се — царство Русское! И будет  
так вовек,  
Как то провидел Дух и Даниил  
предрек!

Итак, и турецкий Константинополь, и Месопотамия, и Египет, и Индия — все смешалось в восторженной голове русского патриота! А ведь стоял за этим вполне реальный план раздела мира на русскую и английскую зоны влияния, о котором мечтал Николай I. Францию он в расчет вообще не принимал (она же была разбита тридцать лет назад!). Коронация Наполеона III, «самозванное» объявление его императором довели русского царя до иступления, он говорил, что его лично оскорбили, что он получил пощечину...

Поражение России в войне 1854—1856 годов сбilo спесь с генералитета, вызвало очистительную волну критического отношения к режиму Николая I. Участник войны, прапорщик Л. Н. Толстой заносит в дневник 2 ноября 1854 года:

«Неприятель выставил 6000 штуцеров, только 6000 против 30 (тысяч). И мы отступили, потеряв около 6000 храбрых... Ужасное убийство! Оно ляжет на душе многих. Господи, прости им. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты... Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных...»

Помните Левшу, тульского мастера,

который, умирая, только одно мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся!

Н. С. Лесков пишет далее:

«— Мартын-Сольский (врач. — А. П.) графу Чернышеву доложил, чтобы до государства довести, а граф Чернышев на него накричал:

— Знай свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайтесь; в России на это генералы есть.

И чистка продолжалась до самой Крымской кампании. Как стали ружья заряжать, пули в них болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены».

Поэтому и били англичане из штуцеров русские колонны. К счастью, Л. Н. Толстой уцелел... и записал в дневнике 23 ноября 1854 года:

«Я больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться... Казаки хотят грабить, но не драться, гусары и уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота — в воровстве и наживании денег. Грустное положение и войска, и государства».

Не случайно, что после поражения России в 1861 году было отменено крепостное право, началось ускоренное развитие русского общества в техническом и культурном отношении. Н. Г. Гарин-Михайловский в автобиографической повести «Инженеры» рассказывает о том, как в 1878 году в районе Одессы за 45 дней была выстроена железная дорога длиной 280 км! Таких темпов, кажется, не было и на БАМе, заваленном современной японской техникой... Быстрыми темпами развивалась Россия и перед первой мировой войной. Правда, телевизоров не было, но Россия была главным мировым экспортером зерна; В. И. Ленин отмечал ускоренное развитие капитализма, концентрацию производства. Не исключено, что одним из стимулов развития была неудачная русско-японская война, всколыхнувшая русское общество.

И наоборот, победа Японии в войне с Россией в 1904—1905 годах обусловила безусловный авторитет военной верхушки Страны восходящего солнца. Генералы и адмиралы стали героями нации. Что они могли предложить наряду? Только политику милитаризации. Страна лихорадочно вооружалась, на-

чалась агрессия в Корею, Китае, Индокитае, военные провокации на границе СССР и, наконец, война с США. В итоге — бесславный разгром в 1945 году.

Но нелишне вспомнить, что до 1945 года Япония (именно Япония!), наряду с подвигами смертников-камикадзе, «славилась» во всем мире еще и исключительно низким качеством промышленных товаров. И не случайно: все доброкачественное сырье пожирала армия. Гипертрофированные имперские амбиции высшего генералитета раздувались официальной пропагандой. Японские самураи отличались неприхотливостью, стойкостью, жесткостью. Пленным рубили головы, вырезали у них печень и ели сырой — для храбрости; насаждалась звериная дикость... Но японский народ не получил ничего, кроме гибели миллионов, нищеты, страданий.

Лишь интеллигенция Японии — малая часть ее — понимала, что идет массовое обольванивание народа, что итогом будет народная трагедия. Вот стихи поэта Исикавы Такубоку:

Отряд марширующих солдат.

Я долго на них глядел:

Как! Ни тени печали на лицах?

Ночью мне почудилось вдруг,

Будто вся кожа моя —

настороженное ухо...

В молчанье спящего города —

Тяжелый топот сапог...

Перевод В. Марковой

«Глаза внутрь» — взяв эти два слова за основу политического курса, послевоенная Япония совершила потрясающий скачок в своем развитии. Начав практически с нуля, из полностью разоренной нищей страны Япония стала признанным лидером мирового технического и экономического прогресса. 100 миллиардов долларов в год — таковы доходы японского экспорта! Опыт этой страны должен стать объектом внимательнейшего изучения нашими специалистами, но ясно, что процветание и милитаризация, как гений и злодейство — две вещи несовместимые. Не правда ли? Тем же путем, резко сократив военные расходы, последовали ФРГ и Италия.

Не знаменательно ли, что страны, разгромленные во второй мировой войне, покончив с милитаризмом и тоталитаризмом, победили в экономическом соревновании?..

Поэт А. К. Толстой, рассказывая об истории государства Российского, от- мечал:

— Ходить бывает склизко по камушкам иным, Итак, о том, что близко, мы лучше . . .

Но стоит ли молчать о близком? Довольно архивной пыли! Давайте брать быка за рога. Допустим, что «бык» — это Министерство обороны СССР. Что производит это министерство? Оно ве- дает нашей защитой от удара армий НАТО. В соответствии с объемом финанси- рования Министерство обороны определяет уровень милитаризации СССР.

Сколько оно потребляет? Иначе го- воря, во сколько обходится оборона всем нам — производителем и налого- плательщиком? Официально — 18—20 миллиардов. Но кто из вас, дорогие читатели, всерьез воспринимает эту цифру? . . .

. . . Вечером, у костра, после длин- ного геологического маршрута, после миски надоевшей каши с тушенкой, разговор лениво тлел, то гас, то слегка разгорался. И вдруг ярко вспыхнул.

— А сколько мы, к примеру, тратим на вооружение? — спросил один рабо- чий.

— Не на вооружение, а на оборо- ну, — внушительно поправил начальник партии, — мы тратим 18 миллиардов, бюджет — 600 миллиардов<sup>1</sup>, это будет всего 3% бюджета.

<sup>1</sup> До недавнего времени эта смехотвор- но низкая цифра вполне серьезно приводил- ся в качестве официальной суммы воен- ных расходов. Разумеется, никто ей не верил, и эта ложь вызывала во всем мире скептическое отношение к советским мир- ным заявлениям. 30 мая 1989 года М. С. Горбачев назвал новую цифру военного бюджета — 77,3 млрд руб. 11 июня в газете «Правда» начальник Генерального штаба СССР М. Моисеев дал расшифровку структуры этих расходов. Многие зарубежные специалисты считают эту цифру также заниженной и оценивают уровень военных расходов СССР в 150—180 млрд руб. Очевидно, дальнейшее развитие гласности позволит выявить **по- бочные военные расходы**, скрытые в раз- личных разделах гражданского бюджета. Так, например, не учитывается стоимость земли на гигантских территориях, отчуж- денных МО СССР, никто не считал страш- ные экологические разрушения, наноси- мые атомными и ракетными испытательны- ми полигонами, военными маневрами и проч. Процветание СССР требует снижения реальных военных расходов до 35—40 млрд руб.

— Однако неверная эта цифра, — уверенно возразил рабочий.

— С чего ты взял сомневаться в офи- циальных данных? — забеспокоился на- чальник.

— Так ведь у нас с Америкой армии и вооружение примерно равные, а у них расходы, наши газеты пишут, 300 миллиардов долларов! Значит, у нас столько же. Не меньше рубля дол- лар? Выходит, 300 миллиардов рублей. Наш бюджет — 600 миллиардов . . . Ак- курат половина бюджета — расходы на вооружение!

— Ты неправ, — сказал началь- ник, — надо же учитывать и другие факторы! Например, у американских военнослужащих очень высокая зар- плата.

— Уменьшим цифру втрое — 100 миллиардов!

— У американцев на гонку воору- жений уходит 6% бюджета . . .

— Так ведь не семнадцать!

— Твои рассуждения абсолютно без- грамотны и аполитичны. Ты гражда- нин СССР, мы обязаны быть на страже наших рубежей, у нас граница — через весь глобус — за всем уследи-ка! Вспомни 41 год! Как страна пострадала от внезапного вероломного нападения!

— Так ведь и тогда небошь немало тратили — а что толку! И насчет вне- запности — сейчас в газетах пишут . . .

— Ты, Иванов, гляжу, начифирился сегодня! Небошь топором мало махал на профиле. Завтра пошлю тебя канавы копать — там забудешь про политику!

Разговор угас, но вопросы остались. Действительно, официальная цифра выглядит заниженной. Раз в год по Красной площади, словно уходя на фронт, грохочут ракетные тягачи и тан- ки, во всех концах бескрайней страны небо пересекают инверсионные следы сверхзвуковых военных самолетов, ги- гантский флот элегантноими профилями военных кораблей украшает бухты многочисленных морей и океанов, окружающих (и не окружающих) СССР.

— Большая политика — не наше де- ло, — скажут равнодушные или отвык- шие думать.

— Не ваше дело, — охотно подтвер- дят многие.

А почему же не наше дело? Ведь гигантская военная машина содержит- ся, кормится, поитса, обеспечивается гражданским населением, которое па- шет, строит, добывает, стоит у станка.

Грозный наличный состав армии —

солдаты, старшины, офицеры, генералы, адмиралы и маршалы — в гражданской жизни практически не участвуют; как детей, стариков, пенсионеров, их тоже надо содержать, то есть обеспечивать квартирами, одевать, кормить и т. д.

Салтыков-Щедрин рассказал, как один мужик успешно двух генералов прокормил. Но ведь это когда было, да еще в условиях необитаемого острова! А сейчас у генералов потребности выше: считается, что одного военного в среднем обслуживает от девяти до десяти тружеников. Значит, на армию в СССР работает около 40 миллионов человек, что при средней зарплате 2,5 тысячи рублей в год составляет 100 миллиардов рублей. А ведь у нас одних пенсионеров — 58 миллионов, а еще инвалиды, дети... Кому же обеспечивать гражданское население? Давайте оценивать не только прямые, но и косвенные расходы!

Армия — гигантский потребитель всех богатств, создаваемых нашим многострадальным народом. Подавляющая часть высококачественных сталей, проката, цветных и редких металлов, качественных электронных схем идет не на комбайны, тракторы, легковые и грузовые машины, а уплывает на обеспечение армии и флота. Цветные телевизоры горят потому, что в них используются отходы военного промышленного комплекса! Давайте проведем плебисцит, давайте спросим народ: — Какова должна быть численность армии СССР в мирное время?

В эпоху Н. С. Хрущева армия СССР насчитывала, по данным зарубежных справочников, 3,5 миллиона человек и 30 тысяч танков. За время «застоя» она выросла до 5,8 миллиона человек и 50 тысяч танков (как видим, «застой» армии не коснулся, у нее процент роста совсем не тот, что в гражданских отраслях промышленности). Сейчас М. С. Горбачев объявил о сокращении армии на полмиллиона человек. Большая цифра, весь бундесвер насчитывает примерно столько же. Но с другой стороны — это менее 10%! А ведь Китай, стремясь поднять свою экономику, четырехмиллионную армию с устаревшим вооружением сократил на четверть! И не боится агрессии США или Тайваня!

Может быть, наш Генеральный штаб ожидает внезапного удара?.. Скажем честно, даже в мирные годы самого

страшного напряжения холодной войны — в последние годы жизни И. В. Сталина или во время безответственных заявлений Н. С. Хрущева — вряд ли Генштаб ожидал реально первого удара со стороны Бельгии, Голландии, Италии, Франции, ФРГ, Испании... А также — Великобритании и США.

Но нет сомнения, что гигантская сверхдержава, затаившаяся за железным занавесом секретности, беспредельно милитаризованная, покрытая чудовищной сетью концлагерей, продвинувшая войска далеко на запад от своих границ, в союзе с маоистским Китаем — сколько бы она ни уверяла о своем миролюбии — веры ей было мало. Потому что мирным заявлениям И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. П. Берии, А. Я. Вышинского — этим гнусным убийцам, лжецам и провокаторам могли верить только малоинформированные люди.

Неужели мы и сейчас должны думать, что западные политики, стоявшие во главе государств, были так же глупы, как и обольщенный советский народ? Неужели они не имели достаточно верной информации об истинном лице Л. П. Берии — главного куратора заводов по производству атомных и водородных бомб, или Полномочного представителя СССР в ООН А. Я. Вышинского — организатора самых позорных судилищ, какие можно вспомнить за последнюю сотню лет... Наконец, можно ли было верить И. В. Сталину, коварнейшему политику, мнившему себя глобальным стратегом и вполне серьезно готовившемуся к войне?

Слово «милитаризм» (от латинского *militaris* — военный) словарь иностранных слов, изданный в 1983 году, объясняет как «реакционную политику усиления военной мощи, проводимую империалистическими государствами с целью подготовки новых агрессивных войн». Стыдно сегодня это читать. Неужели мы не понимаем, что и наша страна, хотя она социалистическая, тоже весьма милитаризована! Печальный опыт Афганистана убеждает в пагубности политики, которую проводил генералитет эпохи застоя.

Наряду с обычным желтым золотом земных недр в печати мелькает «белое» золото (хлопок), черное (нефть), голубое и т. д. Но забывает наша публицистика о золоте цвета хаки, золоте военных расходов, золоте мили-

тарнизма, но только не американском, бундесверовском и прочем (мы очень любим считать чужие военные расходы!), а о своем, родимом.

Плата за страх. Нагнетание страха войны сопровождается сумасшедшей гонкой вооружений. И в ней заинтересованы отнюдь не одни лишь зарубежные монополии. Престижное положение, системы льгот и высоких окладов существуют и в нашем военнопromышленном комплексе, который обеспечивают десятки миллиардов людей.

Неудержимо расширяясь, спираль гонки вооружений захватила весь мир, словно разумное население планеты Земля сошло с ума. Милитаризация — болезнь, подобная раковой опухоли, которая, если ее вовремя не вырезать, уничтожает заболевшее государство.

Если в музее ненужных и вредных для общества созданий человеческого гения древние поколения оставили египетские пирамиды, то наша эпоха экспонирует гигантские рукотворные горы стального, чрезвычайно дорогостоя-

щего хлама из танков, орудий, ракет, водородных, атомных, фугасных, химических, бактериологических бомб. Великое дело сделали М. С. Горбачев и Р. Рейган, впервые в истории человечества договорившись о совместном сбалансированном уничтожении наступательного оружия. Не скрою, очень приятно видеть, как воплощение смерти — ракета, способная за секунды уничтожить Москву или Вашингтон, взлетает к чертовой матери в огне взрыва на специальном полигоне уничтожения ракет. Слава Богу, что мы можем это видеть!

Но ведь такая ракета стоит столько же, сколько она весит в золоте! Это взорвались непостроенные больницы, школы, города...

В хеопсовых пирамидах военных помоек ржавеют промышленные клейма многих стран мира. Мы должны помнить, что немалая доля этого утиля унесет в будущее надпись «Сделано в СССР».

Перестройка и милитаризм несовместимы. Как гений и злодейство.



Лилия Динере. Битва героев [1987]. Объект любви [1987]

# ССЫЛКА ИЗ ЛАТВИИ

*Уважаемая редакция!*

*Я позволяю себе послать короткий рассказ из «Хроники жизни». Некоторые короткие эссе оттуда были опубликованы в «Лауку авизе» и «Падомяю лунатне». Последняя, как одна из лучших, передана в «Архив Человека» в Фонд культуры.*

*Так как я пишу по-латышски, то я специально для вашего журнала сама переводила текст по-русски, хотя никогда не изучала русский язык. Прошу извинить ошибки. Так же прошу иметь снисхождением к моему возрасту (68 лет). Мне очень хочется, чтобы и читающие только по-русски тоже узнали о судьбе латышей, тем более, рассказ о латышских рыбаках уникален — там никто никогда не был, который мог это описать — за исключением только самых рыбаков, если они еще живы...*

*Уважающая вас  
Ада КРАМЕР*

У каждого человека своя судьба, у него только одна жизнь, его собственный мир и среда в которой он живет и вырос. Поэтому несчастье свое он воспринимает по-своему.

Что касается нас, латышских репрессированных, то оно отличается во многом от судьбы других советских репрессированных. Мы жили в Европе. В такой называемой «буржуазной стране». Но без суда и следствий никогда никого не преследовали. Мы имели право уехать в любую страну мира и разумеется приехать, если только были деньги. Мы не знали, что такое «коммунальные» квартиры, мы не знали, что такое «дефицит» в товарах. Мы никогда не видели очереди. Мы также не знали, что такое запретные разговоры.

Когда Улманис до 34 года был министром, он ехал мимо нас, в Лиенае, в открытой коляске. Мой отец Давид Липманис и еще некоторые торговцы, пустили реплику в его адрес, так как он сильно ограничивал импорт. Кругом стоящие смеялись, а Улманис ехал себе спокойно дальше и никого это не волновало. Можно себе представить наше удивление, когда нас объединили с СССР и нам стало известно, что в Польше народ выслали, что за анекдоты садили людей, что вдруг нас стесни-

ли с квартирами и они превращались в коммунальные. Мы просто это не могли понять. Моя подруга ездила в Москву к тете, но та встретилась с ней в парке в кустах, ибо все, которые имели связь с загнивающей, преследовались. Нам это казалось очень странно. Лиенаю каждое лето посетили английские, немецкие, датские и другие гости.

То, что случилось с нами, репрессированными, в 1941 и 1949 году для нас был страшный удар. Ведь мы вышли из совершенно другого мира — в экономическом, политическом, а главное в нравственном, духовном и эстетическом отношении.

«Честное слово» во всех кругах был важный фактор — среди торговцев и крестьян сделки заключались пожатием рук. Держать слово было дело чести каждого человека. Обмануть — значило потерять доверие и репутацию. Что представители власти могли обмануть — было неслыханное дело. Когда при высылке нам сказали, что мы потом встретимся с мужчинами, мы безропотно разлучились с ними — ведь обещали, что там они уже будут нас ждать...

В то время в Латвии главный язык был, конечно, латышский, но многие знали и немецкий, польский и русский. Привилегированными должен быть коренные жители — такие взгляды были тогда.

Менталитет каждого народа на своей земле неповторим — его нельзя угнетать, унижать, приравнять к другим народам. Его надо уважать и ценить так же как обычаи, фольклер и искус-

---

Печатается без внесения корректив в текст, поскольку нам показалось важным на этот раз сохранить акцент автора в письменной речи. — Ред.

ство каждого народа. Первый признак завоевателей из века в век всегда было именно ущемление самобытной культуры народа.

Отец был из бедной семьи. Но фирма «Прагер» в Либапе его послала образовываться в Англию. Он был очень способный, и тогда уже знал пять языков в совершенстве. До 1917 года отец еще работал, в фирме потом он женился на нашей маме София Липперт — пианистке учительнице музыки. Помаленьку он начал везти собственное дело, и мы хорошо жили. Недвижимого имущества у отца не было.

Рано утром 14 июня 1941 года к нам нагрянули НКВД, эти нелюди и заставили в течение получаса собираться. Поместили нас в вагонах для скота в антисанитарных условиях. Не забыть мне никогда троих детей в возрасте от трех до 14 лет, которые совершенно одни, крайне перепуганные и расстроенные, находились в нашем вагоне.

Так как моя сестра Рут болела воспалением легких, ее больную забрали, то мне разрешили выходить на остановках. Там стояли наши латышские женщины с молоком, сахаром и другими продуктами, и ждали наш эшелон, чтобы вручить все нам. Я не хотела брать бесплатно, я видела, что они совсем не богатые, но они мне просто сунули в руки и ушли. Все они плакали, и были страшно расстроены. Я потом с ужасом думала, не достигла только их наша судьба в 1949 году. Нам с сестрой было 19 лет — близнецы, а маме 14 июня исполнилось 50 лет (она была двоюродная сестра Зигфрида Мейеровица, первого министра Латвии), мы очень тяжело перенесли дорогу. В вагоне свирепствовала дизентерия. Маленькие дети заболели первые. Но когда нас в пригороде Красноярска выгрузили в бараках а оттуда на пароход по Енисею «Мария Ульянова», то там творилось страшное. Жара стояла невыносимая, солнце пекло, кипятка не было. Женщины и дети получили солнечные удары, умерли первые дети. Взрослым стало дурно, их рвало. Туалет был один на тысяча людей. В кубрике стояла смрад и вонь. Парни с помощью кружек и веревки достали воду из реки. Ехали мимо песчаных берегов, там стояли люди с черными сетками на голове против мошары. Там свирепствовала малярия. Следующий день, мы прибыли в

порт Галанина, где нас выгрузили. По дороге наши проводники нам уже сообщили, что вагоны с мужчинами отцеплены и они уехали в совсем другое направление. Это добавило масло в огонь наших страданий. Первую ночь мы проводили под открытым небом на берегу могущественного Енисея. Следующее утро приехал начальник местной НКВД Георгий Алексеевич Иванов. Это был высокий, добрый, скромный человек в форме злодеев. За всю свою бытность начальником НКВД в Казачинском районе он никому не сделал зла. Мы потом на Севере встретили другого типа начальника. Мы были настолько наивны, что мы это приняли как должное и обращались к нему за помощи, которую он и оказал. Так как я была медицинский лаборант, а сестра бухгалтер, нас оставили работать в самом центре в село Казачинское. Там я при амбулатории вновь оборудовала клиническую лабораторию. Мама хорошо говорила по-русски и мы в течении пару месяцев научились говорить по-русский. У нас не было другого выхода. Большинство женщин попали в колхозах, где они так мало заработали, что еще остались должны за хлеб. Среди наших распространялась дизентерия и малярия. Начали умирать сперва старушки, а потом маленькие дети. Мы тоже болели дизентерией. Но осенью я заразилась от умирающей девочки дифтерией и очень тяжело болела. Никакой антидифтерийной сыворотки мне конечно не вводили.

От одного из бывшего заключенного из Вятлагах НКВД, мы узнали, что там находятся мужчины из нашего эшалона. Только к тому времени большинство из них уже не было в живых. Самые слабые умерли по дороге в эшалоне. Среди них дядя нашей маме — Л. Липперт. Умерли от непосильного труда и голода. Молодые еще раньше погибли. Дизентерия там тоже свирепствовала. Наш отец умер от голода в июне 1943 года.

В амбулатории меня устроила главный врач Блох-Яффе. Она была из так называемых 58 статьи. Так называли всех репрессированных согласно статей от 1937 года.

Ее вина состояла в том, что ее муж был нарком Белоруссии по здравоохранению. Коммунист. От нее мы узнали о безмерном беззаконии и горе, которое обрушилась на советский

народ. Она считала, что истинные коммунисты, настоящая интеллигенция истреблена Сталиным. Она еще была очень добрая. Мы с ней все сделали, чтобы спасти людей от смерти. А таких было очень много. Конечно не всех мы могли вырвать из когтей смерти. Между собой мы об этом никогда не говорили. Однако мы прекрасно поняли друг друга. Доктор хорошо разбиралась в людях. К нам часто из лагеря НКВД привели арестованных на проверку здоровья. К стати эти лагеря не подчинялись Иванову. Если доктор меня позвала в кабинет и велела, этого, мол, человека обследовать на дизентерию, то я уже по ее тону поняла, что его надо спасать. Я написала, что у него по анализу обнаружена дизентерия, и человек был спасен. Его отправили в больницу, где он получил питание и постель как подобает больному. Кроме того, мы с ней еще работали в комиссиях, которая брала нас, так называемых спецпоселенцев, на тяжелые работы. Летом 1942 года, мобилизовали всех латышей на Крайний Север — на рыбную ловлю. Думали, что раз латыш с Балтийского моря, они будут хорошими рыбаками. Мы спасали таких людей, чей родственники уже повымирили до этого, от туберкулеза. Но немногих удалось спасти. Отвезли их на пароходе по Енисею далеко на Север и бросили их прямо в тундре, прямо на голой земле. До первого снега они жили без крыши над головой. Потом привезли стройматериалы и эти несчастные начали себе строить бараки. За это время самые слабые и больные уже заболели и умерли. При второй высылке мне там пришлось быть и я встретила этих рыбаков и видела эти бараки. Я, как медик, получила бесплатные дрова, керосин и квартиру. Дрова я получила целым плотом. Его надо было вытащить из воды, распилить и нарубить. Мы с сестрой изрядно измучились над этом. Картофель и другие овощи, мы тоже сами садили, если не хотели умереть с голоду. Климат и природа в Сибири чудесны. Самый большой мороз был минус 53 градуса. Даже на крайнем Севере такого не имели. Зато там были пурги. Пока топилась печка, в избушке было тепло, но ночью все выстыла и замерзала вода в стакане.

Тайга изумительная, и земля такая плодородная, что, кажется, все растет

само собой. Около избушки уронили шелуху от картофеля. Осенью там вырос большой куст картошки! Черемуха была крупная и сладкая, как наши вишни. Так же красная и черная смородина.

Наши женщины выменяли свои вещи у местных жителей, но они тоже нуждались. Мы такую бедноту видели впервые. Белья у них вообще не было. Спасло их то, что они носили очень длинное пальто и валенки. Летом они носили выцветшие ситцевые халатики и калоши на босу ногу! Мужики были все в армии и они работали вместо них и на поле и еще дома в огороде. Меня поразило большая разница между ними и женами начальства. Они носили добротные шубы и были хорошо обеспечены. Я ходила из дома в дом и раздавала мыло от амбулаторий и могла убедиться, какая бедность была у местных жителей. . . . От одной своей коровы их еще заставили платить налоги в то время как их дети голодали!

В 1943 году, когда мы узнали, что наш отец погиб от голода в Вятлагах НКВД Кайского района п/о Лесное. У нас в Казачинске голодали особенно сильно. Картофель был посажен, овощи съедены, а хлебный паёк мизерны. Насилие собирали перезимовавшие колоски на полях и этим питалась. Оказалась, что колоски содержат смертельный яд, который вызвал болезнь крови — Алейкия Франка. В результате этой болезни больные скончались от сильного кровопотеря. Приехала специальная комиссия из Красноярска и образовала бригады для спасения больных, где работа лаборанта была чрезвычайно важная. Оказалось, что у лиц, питавшимся этим перезимовавшимися хлебом, можно было обнаружить лейкопению (уменьшение число лейкоцитов в крови) гораздо раньше чем клинические выражения этой болезни — ангины и подкожный кровоизлияний. Это были немцы, которые очень прилежно собирали эти колосья. Я постоянно ездила по деревням обследовать кровь поголовно у всех, которые питались колосьями. За это время мой хлеб остался моим в Казачинске, и это нам было большое облегчение.

Одна немецкая семья с маленькими детьми ни за что не хотела придти на анализ крови: «ведь мы здесь все равно все обречены». Не помогло даже то, что я с ними говорила на их

родном языке, которым я владела в совершенстве. Однако я видела, какие они бедные, и я рисковала и записала их в число больных и они были включены в список для получения дополнительного пайка хлеба. Немцы, которые попали в наш район в 1942 году были вообще очень интересное этническое явление. Благодаря своей изоляции в СССР, они полностью сохранили свой язык и свои обычаи и нравы, которые привезли, когда приехали в Россию в середине 18 века. Они выходцы из Баварии из Швабен-Вюрценберг, говорили своим диалектом и обосновали немецкую колонию. Но здесь их никто не понял, не говорил по-немецки и не могли оценить самобытность этого народа. Их уничтожали систематически и сегодня их потомки уже не говорят по-немецки. Тогда их республику ликвидировали и их всех выслали. Сперва всех мужчин сослали в лагерях, а потом всех женщин. Детей забрали в детдома, которые мне пришлось посетить, однако мне слишком больно об этом рассказать...

То же самое испытывала доктор Блох-Яффе, когда она вернулась из лагеря «Кокорная», которого обследовала. Там находились грузины, которые во время войны попали в немецкий плен. После посещения этих несчастных, доктор на мои вопросы только махала руками и ни слова не могла вымолвить.

Когда освободили поляков, которые тоже находились в нашем районе, то наш начальник Иванов в их список записал одну очень бедную молодую женщину с маленьким ребенком, которая была кажется от украинских высланных. Мы все это знали и уважали Иванова. Он и освободил некоторых уж очень больных и слабых немецких женщин по просьбе доктора, но всем помочь, конечно, не мог. После войны зав. Красноярским крайздравом стал известный хирург, бывший министр здравоохранений (жертва Сталина) Ананьев. Он был и депутатом Верховного Совета. Когда он посетил нашу амбулаторию, я ему рассказала о нашей судьбе. Он мне велел ему все подробно написать и подать заявление. На основании моих ходатайств нас освободили 12 апреля 47 года и мы вернулись в Ригу, где нас ждала двоюродная сестра. Разрешение мы получили от НКВД Красноярского края.

Отцу «Особое совещание» в Вятла-

гах присудила пять лет лагерного заключения за то, что он был торговец. Для тех времен это был очень «мягкий» приговор и доказательство его невиновности. Однако, через семь лет после смерти отца и за пятнадцать лет до его реабилитации, нас с мамой и сестрой опять выслали из Риги. Мать была инвалид, а сестра уже была замужем. ЛССР НКВД отменила решение красноярской НКВД о нашем освобождении и нас выслали второй раз 22 мая 1950 года. В течение полчаса нам надо было собираться и сесть в машину, которое нас отвезла в пересыльный пункт на улице Виляну. Кстати, в 1972 году там был призывной пункт, откуда мой сын поехал служить в армию. Но в 1950 году это было тюрьма. Оттуда нас ночью солдаты в сопровождении собак отвели в теплушки, то есть поместили в вагоны для скота. Все там были вторично посланы или же такие, которых не успели схватить в 1949 году.

Хотя я и в первой ссылке встретила человека, с которым у меня была полная душевная гармония, мне не было суждено счастье. Теперь же, когда я была уже почти десять лет старше, я вместе была послана со своим рижским другом, который стал моим мужем и отец моих детей. Он также, как и я, был дважды послан как член семьи домовладельца. Ехали мы опять до Красноярска и там долго сидели в тюрьме, ожидая пока откроется Енисей, т. е. начнется навигация, чтобы нас отвести до северного порта Дудинка. Мужчины были в маленьком бункере, где могли только стоять вместе с обыкновенными преступниками. С нами ехала латышка, которая вернулась из лагеря, где она отсидела срок. Во время ссылки несколько женщин 18 ноября собирались у Кузнецовой (владелица рижского фарфорового завода) и праздновали. Это стало известно НКВД и всех арестовали. Кузнецовой присудили смертную казнь, и ее отправили в тюрьму смертников в Каер-Кан около Норильска. Потом я посетила Норильск и проехала мимо этой станции, где колечные проволоки тянулись до железнодорожной насыпи. На этом месте я еще хочу сказать, что Норильск отнюдь не был построен «комсомольцами» как везде возглашают! Он был построен всем заключенным, которые имели 58 статью, среди них немало латышей.



Ада Крамер (1989 г.)

Эту женщину выпустили в Енисейск и она взяла мое письмо к зав. Крайздравом Красноярского края т. Бронницкой, в котором я ей напомнила, как устроила клиническую лабораторию в село Казачинское и просила ее мне выслать в Дудинку в отдел Здравоохранения направление на работу. Действительно, по приезду в Дудинку направление там уже находилось. Комендант НКВД Ломашенко, нас, ссыльных, встретил просто сердечно. Объяснил, что здесь на севере за Полярным кругом нуждаются в интеллигенции и есть хорошие заработки. Зато начальник НКВД всю молодежь сразу хотел отправить на рыбную ловлю еще дальше. Потому что, как он мне лично сказал: «как вторично высланные, вы особенно опасные!» Просто удивительно, как хорошо он распознавал врагов! Это я, после тюрьмы и парохода худенькая маленькая, выглядела как подросток или наша мама-старушка, еле живая... Только благодаря энергичным протестом зав. горздравом Нестеровой, Кисерев нас все-таки отпустил, потому что не мог не считаться с ней. Маму нашу я положила на 2 недели в больницу. Сестра устроилась бухгалтером и ей дали квартиру. Надо сказать, что там ссыльные была высокая интеллигенция, пока я не была замужем и муж моей сестры не следовал за ней, нам трем женщинам помогали другие ссыльные, чем могли. Пару недель после приезда, ко мне на почте подошли молодые парни — военные из войск НКВД и спросили: «Вы Ада?» Я была очень удивлена — мы с сестрой близнецы и нас не так просто было различить. «Мы были ваши конвоиры на пароходе и хотим извиниться перед вашей мамой, мы не виноваты, что нас заставили конвоировать, нам сразу было ясно, что вы ни в чем не виноваты». Приходили они к маме, и пока не ушел пароход они сидели у нее и ждали нас с подругой пока мы не приходили с работы. Только одного, который во время поездки к нам плохо относился, мы просто прогнали и не взяли в нашу компанию. Такое тоже бывает!

Я не долго успела поработать, как меня включили в правительственную экспедицию по обследованию национального населения. Экспедиция началась 6 августа и длилась до 15 октября. За это время, мы объехали весь громадный бассейн Енисея от Дудинки до Диксона. В составе комис-

сии входил глазной врач, венеролог, гинеколог и фтизиатр. Конечный пункт Сосновка находился у Карского моря, где кончается могучий Енисей. Кругом бескрайная тундра, где летом росли разные прекрасные цветы и жили очень много невиданных птиц. Своего транспорта у нас не было и мы ехали на морских пароходах «Жданове» и «Кирове». Красота была дикая, своеобразная — стояла северное лето — солнце вечером как огненно-красный шар спряталась в серых водах реки, чтобы через пять минут опять выплыть на горизонте. Енисей здесь был такой широкий, что берега не были видны — казалось мы находимся в море. Карское море было песочного цвета, имела прилив и отлив, во время отлива брали воду из реки, тогда оно не было соленое.

Я все время стремилась встретить этих латышских ссыльных, которых в 1942 году мобилизовали на рыбную ловлю. Они тогда еще были совсем молоденькие. Этим их лишали возможности получить образование и профессии. Оторвали от родных, послали их в экстремальных условиях. Они тонули в льдиных водах Енисея, терялись в снежных буранах бескрайной тундры, каждый день вновь боролись за свою жизнь. Это были настоящие герои, которые мужественно и безропотно перенесли свой тяжелый жребий... В одной из снежных пург погибла молодая врач доктор Ра-се. За ней приехали в пургу ненцы, чтобы увезти к тяжелой больной. Они хорошо знали тундру и ехали в любую погоду. Но этот раз не повезло — их скелеты нашли далеко от больницы только весной. Когда я была в Воронцове — той больнице, где работала молодая доктор, с трудом удалось узнать ее фамилию. А ведь у нее должны были быть родители, который дали ей жизнь, любили ее. Где наши дочери, наши сыновья, которые жили и умирали в водах Енисея, в снегах тундры? Молоденькие парни, гонимые голодом отправились у пургу за хлебом и никогда не вернулись. Потом ходили другие и очутились у дымохода магазина вместо дверей, такой глубокий снег навалил. Постепенно эти молодые люди научились управлять лодкой, ловить рыбу, солить ее, рубить проруби для подледной, зимней ловли. Когда я их встретила в 1950 году — это были настоящие рыбаки.

Для подледной ловли у них было много собак, с которыми они ехали от проруби к проруби. Они очень обрадовались мне, ведь столько лет не повстречали человека с родины, но когда я им рассказала о новой волне репрессий 25 марта 1949 года они поникли. У нас нет больше родины, они печально сказали.

Эта дикая красота оставила бы на меня совсем другое впечатление, если поездка была бы добровольная. Тогда она была бы даже очень романтической, но все что в жизни не делается по доброй воле имеет совсем другой эффект. Так же как я не была в состоянии восхищаться сказочной красотой тайги, когда я включилась в борьбу за жизнь бедноты в Сибири, так же я здесь не могла радоваться доселе не виданной природы тундр...

Мы остановились только там, где жили местное население — ненцы. Это были кочующие пастухи-оленьеводы, которые со своими громадными стадами объезжали тундру в поисках корма для них. Ехали на оленьих нартах даже летом. Колесами они не пользовались. Летом они ехали только ночью, когда роса лежит на траве и нарты-сани легко скользят. Чтобы их обследовать, мы тоже ехали к ним целую ночь на оленьих «подводах». Северная ночь светлая — стоит роса и нарты легко скользят по этой бескрайней тундре. Но она отнюдь не равнина, как это описывает в учебниках. Она состоит из сплошных крутых холмов, которые олени берут с ловкостью кошек. Не дай Бог упасть, и ты останешься волком на корм. Такие случаи тоже были. Вдруг мы услышали в тундре вой волков и спешили туда. Но мы опоздали: молодой олень уже лежал разорванный волками. Наши ненцы сразу отрезали большие куски еще теплой печени и сунули их в рот. Только около самых зубов они очень острым ножом отрезали себе лакомый кусочек. А дело было вот в чем: последние годы им запретили резать олени и питаться сырым мясом, как они это делали изпокон веков. Теперь они питались хлебом и крупой. В последствии этого недостатка витаминов они заболели цингой, которое у них выразилось в сильном кровотечении из носоглотки, которое нередко кончалась трагиче-

ски. Цель нашей экспедиции было выяснить причину болезни, потому что думали, что это туберкулез. Отсутствие же туберкулезных палочек и нормальная картина крови, показало несостоятельность этих предположений. По дороге домой мы еще посетили Караул и Усть-порт, где мы обследовали уже просто больных, потому что национального населения там уже не было. Усть-порт — это большой рыбный завод, построенный опять же ссыльными — среди них, конечно, и латыши. Оттуда мы буквально последним сейнером поехали домой. Уже лежал снег, а по реке вместо воды уже была «шуга». Это мелкие кусочки льда вместо воды. Все члены экспедиции получили правительственные ордена, только я как ссыльная не получила ничего, хотя благодаря моим знаниям немецкого и латышского языка нам вообще удалась эта экспедиция. Дело в том, что население на крайнем Севере в этих рыбацких местах состояло почти из латышей и немцев — они же были бригадиром и представителями в колхозах и мне, так как я знала их язык, всячески шли навстречу и организационными вопросами занималась преимущественно я. Только я уже призывала к своей принадлежности к категории «ссылных» и не обратила внимание на несправедливость. Приезде домой я вышла замуж за моего верного друга. В экстремальных условиях родила сына и дочку и была счастлива несмотря ни на что. К сестре приехал ее муж — участник войны, которому никакая ссылка и Север не были страшны. С облегчением мы дождалась смерти Сталина, письма Хрущева. Только мать наша умерла в ссылке, осталась лежать в чужой земле далеко от родины. Когда наш сын через 30 лет после ее смерти поехал в Дудинку искать ее могилу, он ее не нашел.

В 1957 году, мы вернулись на родину но настал 1959 год и мы скрывали, что были высланы. Я хочу, чтобы страдание нашего народа стало известно всему миру. При том моя судьба было еще много лучше других! Этому я могу благодарить своих родителей, которые мне дали специальность, благодаря которой я все пережила. И так же моя сестра — мы выжили и еще помогли другим.

## ЧТО ПИЛИ АНГЛИЧАНЕ?

Любой автор, да и читатель, приступая сегодня к биографии Якова (Екаба) Петерса — заместителя Ф. Э. Дзержинского по Всероссийской чрезвычайной комиссии (1917—1922), не может не помнить о существовании ряда как общих, так и частных проблем, как вне-временных, так и конкретно-исторических, с очевидностью проступивших из времени. К примеру, что объединяет социальную, национальную идею, если они предложены человеку как сверхценные? какие изменения в психике производит война, революция, страх, магия таких слов, как «свой», «чужой», осваивающих человека от личной ответственности? можно ли, негодую по поводу «синего» террора, не замечать «зеленого», и наоборот? как отделить в человеке агнца от козлища? как определить свой собственный порог перед лицом насилья, перед испытанием властью? какие цели и задачи ставила перед собой национальная окраина, участвуя в октябрьском перевороте? что такое «кристальная честность и чистые руки» в понятиях революционной этики? к чему приводит совмещение в одних руках следствия, суда и расправы? почему во время гражданской войны и позднее попытки ввести «органы» в русло закона не получили успеха? какие иные основные методы, кроме клеветы, фальсификации, шантажа, провокации, допроса «с пристрастием», игры на темных инстинктах, используются тайной полицией в принципе? и почему все эти методы, пусть даже возникшие в силу «объективной необходимости», потребовались воспевать и романтизировать? эволюция ВЧК и ретроспективный взгляд на нее из одной переломной эпохи в другую? возраст, уровень образования и культуры, социальное, территориальное и

национальное происхождение «верха» и «низа» репрессивного аппарата в разные эпохи? формирование и чистка пантеона имен и событий... Остановимся наконец и еще раз напомним, что учет этих проблем и смежных с ними должен встать перед биографом, независимо от того, на что он опирается в своей работе — на документ или, скажем, на интуицию. Ни того, ни другого не требовалось в свое время: ни умения найти документ, ни увидеть его, ни сделать источником анализа, ни подтвердить им вывод. Прежде эти элементарные требования были частным и не всегда безопасным делом советского историка, сегодня они возвращаются в науку. Насколько активно идет этот процесс? Книга В. Штейнберга позволяет отчасти ответить на этот вопрос.

Возьмем очевидное — фактографию, объективное отношение к противникам новой идеологии. За последние несколько лет на этом пути очевидные перемены. Образцы — от взгляда на русскую религиозную философию до Н. И. Махно — увсех на виду.

Графиня С. В. Панина, товарищ министра государственного призрения в правительстве А. Ф. Керенского. Суд над ней в декабре 1917 г. обычно предлагается как доказательство гуманности (часто — излишней), изначально присущей революционной власти. По В. Штейнбергу, перед нами воровка или мошенница: «присвоила 93 тысячи рублей казенных денег», приговорена Революционным трибуналом к общественной порчианию и освобождена на условиях возвращения денег. В действительности Панина, отказываясь признавать полномочия Народного комиссариата просвещения, не сочла допустимым передать ему министерскую кассу, была задержана до внесения суммы. Чем можно объяснить специфическое изложение эпизода в книге? Некритическим отношением к

источнику? Источник, надо полагать, — «Путешествие в революцию» известного у нас американского журналиста А. Р. Вильямса? Но вероятно, что искажение лица Паниной связано с использованием в книге характерного для предыдущей эпохи приема: подачи политической акции как уголовного преступления.

А что до отбора источников — так не без отбора. Вильямс и Д. Рид заходят к Петерсу в ЧК: «Он сидел на самом верхнем этаже дома на Гороховой, где раньше помещалось полицейское (или жандармское) управление» (А. Р. Вильямс. Жизнь доказала свою правоту. М., 1983, с. 190). Петерс в своих воспоминаниях говорит о здании бывшего петербургского градоначальства на Гороховой. Какой вариант предпочтет автор книги о Петерсе?

Цифровой материал. «Летом на севере России высаживаются американские войска. Страшный террором расчищают себе путь — 38 тысяч убитых, 8 тысяч расстрелянных и тысяча забитых побоями и умерщвленных голодом». Эти сведения, скорее всего, восходят к т. 3 «Истории гражданской войны в СССР», вышедшему в середине 50-х, что уже вызывает сомнения в их доброкачественности. Не касаясь обстоятельств высадки американцев на Севере в 1918 г., отметим еще один прием, заимствованный В. Штейнбергом из недавнего времени: гиперболизацию. Даже в «Истории гражданской войны» речь идет о 38 тыс. арестованных (а не убитых), обвиняются все союзнические войска, а не только американцы, число которых составляло несколько тысяч.

Еще эпизод. 30 августа 1918 г. в Петрограде выстрелом из револьвера был убит М. С. Урицкий — председатель Петрочека. Справка В. Штейнберга о стрелявшем: «сын заводчика» (то есть фабриканта), «правый эсер». Ни тем, ни другим Л. Канегиссер не был. Его отец — директор завода; партийная принадлежность по большинству источников — народный социалист. В литературе существует попытка объяснить покушение: поэт, романтическая модель мира, отщепенец... Но что может подобная трактовка дать автору книги — в ней нет и следа классового анализа.

Фактография в книге постоянно разбивается о концепцию. На этом фоне как добрых знакомых встречаешь

опечатки, неточности как таковые, разноречивой — в написании имен, географических пунктов, печатных органов (Д. А. Магеровский, Ройд-Каплан, Дэвид Пуль, «Обручев», «Сан-Франциско бюллетен»). Хотя и опечатки здесь имеют что-то характерное: у В. И. Ленина в письме о советской железной дороге: «раскрасили очень многое!», в книге: «раскрыли очень многое!» Действительно, мелочь то, что сотрудник «Фигаро» назван ее редактором, а директор департамента полиции именуется то начальником департамента, то министром внутренних дел. Впрочем, два последних примера — это неточность или тенденция автора к преувеличению? А «баронесса Бекендорф», которая с соответствующими характеристиками постоянно возникает рядом с именем одного английского дипломата? Как историку, занимающемуся Россией и Прибалтикой, не услышать в этом ономастическом монстре всем известное — Бекендорф? Не говорим уже о том, что речь идет о М. И. Бекендорф-Будберг (Закревской), вскоре ставшей секретарем М. Горького. Ей посвящен не только роман «Жизнь Клим Самгина», о ней написаны и специальные работы. Но и «Бекендорф» — мелочь на общем фоне книги, как и странный способ цитации со ссылкой на «Известия»: «Вчера расстреляна Рейд-Каплан, стрелявшая в тов. Ленина». Ср. источник: «Вчера по постановлению В. Ч. К. расстреляна стрелявшая в тов. Ленина правая эсэ-эрка Фанни Ройд (она же Каплан)».

Основная часть книги посвящена знаменитому Заговору послов во главе с Б. Р. Локкартом, роли Я. Петерса, Э. Берзиня и Я. Буйкиса в разоблачении этого «заговора», история которого и по сей день входит в золотой фонд отечественной пропаганды. То, что «заговор» в значительной степени явился результатом целенаправленной операции, разработанной и осуществленной ВЧК в целях порождения империалистического жупела, которым впоследствии подпитывалась и ксенофобия, остается автором незамеченным; расстрелы заложников, создание концлагерей, репрессивные меры к членам семей противников новой власти, зачисление в противники на основании происхождении, составление списков аресту подлежащих по адресным книгам, угроза расстрела по многочисленным доводам — почти все

это находим в книге, автору которой как будто и невдомек, как использовались эти и подобные им приемы впоследствии, невдомек, что гражданская война закончилась лишь вчера (или продолжается?). Азарт публициста эпохи гражданской войны продолжает владеть автором и сегодня. Но ведь он претендует на звание историка, отделенного от событий семьюдесятью годами. И не только историка, но и биографа. Можно посочувствовать автору, взявшемуся за работу о человеке и одновременно убежденному, что любой акт «тех, кто не с нами» рожден внутри контрреволюционной организации, что все антибольшевистские силы монолитно объединены, что, кроме помещиков, капиталистов и мирового империализма, нет у человека других врагов.

А что же Я. Петерс — герой книги, в которой о нем довольно много материала о нем, в том числе и неучтенного ранее. Книги, которая на порядочное число лет станет основным источником постижения судьбы Петерса? Почему о нем нет ни слова в рецензии? Да потому, что почти не разглядеть человека, числящегося под этим именем в книге, хотя все основные приметы его и названы. От ареста в 1907 г. и оправдания по недоказанному обвинению в «покушении на жизнь директора завода во время забастовки», пыток («вырывают ногти из пальцев рук»), якобы примененных к нему царскими сатрапами, — до ареста в декабре 1937-го, но уже без упоминания пыток, и насильственной смерти в 1938 году.

По законам литературы о чекистах положено открыть в герое не только убежденность, волю, мужество, святую ненависть и любовь, но и человека. Отсюда ненаполненные слова: Курземе, Лачплесис, Райнис, жена Мэй из английского захудалого рода, жена Анна Захаровна, дети, опера, Бах, живопись, охота. Необходимо несколько литературных имен — присутствуют. В одном случае: «... у него были любимые Некрасов, Толстой», в другом случае — о том же Льева Николаевиче: «Писатель-граф Петерс не особенно привлекал». Противоречие между двумя утверждениями мнимое: жанр не требует последовательности, важен знак культуры в приложении к именам «рыцарей революции».

«Советская республика учредила [1918] орден Красного Знамени... В числе первых орденов были удостоены... Петерс и... Павлуновский» (с. 50). Перелистаем (с. 198): «Когда к десятилетию ВЧК-ГПУ отмечали «старых» чекистов... то Петерса наградили орденом Красного Знамени... Говорили, правда, что награда запоздала, но...» Так «запоздала» или «в числе первых»? Бессмысленный вопрос. Просто есть убеждение, что награда всегда найдется своего героя, и стремление к крайностям, хорошо бы, если только поэтическим. Вот еще пример крайности: декабрь 1917, ВЧК — «рождавшаяся организация, необычная, не имевшая аналогов в прошлом». К сожалению — имевшая аналогии, разве что размах был не тот. А если вернуться к награде, то И. П. Павлуновского она нашла шестью годами до Петерса.

В 1977 г. в серии ЖЗЛ был издан сборник «Чекисты», куда вошел и большой очерк В. Штейнберга о Петерсе. Нынешняя книга отличается от очерка ростом числа художественных достоинств путем развития текста на главики с названиями «Бросок змеи», «Будни I», «Будни II», «Время торопит», «Памяти дождя». Расширены 1919—1922 гг., включено несколько страниц о 1923—1937 гг., когда Петерс работал в партконтроле (его резолюции на документах этой важной для понимания эпохи инстанции, возможно, смогут дать для представления о Петерсе больше, чем его приказы, интервью, статьи, воспоминания 1918 — середины 20-х гг.). Но главное, в книге, сравнительно с очерком, установлена связь Петерса с сегодняшним днем: речь на XVI съезде ВКП(б) он посвятил борьбе с бюрократизмом, а еще десятью годами ранее настоятельно предлагал коммунистам осознать, сколь велика их личная ответственность за судьбу Советской власти и отношение к ней простого народа; в начале двадцатых годов на посту члена Туркестанского бюро РКП(б) и полномочного представителя ВЧК в Туркестане неуклонно следовал принципам ленинской национальной политики. И все же остаются сомнения — действительно ли год издания книги — 1989?

Лучшая фраза в повествовании В. Штейнберга о Я. Петерсе: «Англичане пили пиво и заказывали эль».

## КАМЕННЫЙ САД

(Письмо из Японии)

Твое дыхание — ветер. Ветер — мой дом. Я — белый лист бумаги. Начертай свой иероглиф в углу, пусть даже крошечный

Дыхание Великого Будды застыло, обратившись в Каменный сад. Легкая тень облака скользнула над ним. Свидетельницы — бамбуковые рощи — затрепетали и затаили свою нескончаемую песню. Она звучит на ветру и в безветрие, в свете солнца и в ночной мгле. Путники — птицы, животные, люди, слышав эту песню, сливаются с ней.

Каменный сад. С одной стороны он ограничен межой, выложенной мелкой сизой галькой, с противоположной стороны огражден стеной. За оградой Каменного сада кипит жизнь. Люди смеются и плачут, ненавидят и сожалеют, возносят мольбы и отвергают их, творят и уничтожают. За стеной все живое и неживое ведет свою Игру со временем. Время установило правила этой игры. Их можно принять либо отринуть, можно попытаться их обойти — победит все равно время. От нас зависит только, как мы играем — мужественно или трусливо, пылко или равнодушно, творчески или по вторяя давно стершееся клише.

Стена Каменного сада, но, возможно, стена времени, словно лезвие отсекает мир временной Игры от мира Каменного сада. Но там, где его отделяет только неширокая полоса сизого галечника, человеку дано приблизиться и заглянуть в этот сад. Здесь отступило время. Здесь нет Игры, нет и Правил. Граница столь хрупка, так сливается с плоскостью белых камешков, устилающих сад, что, кажется, ее легко переступить. Птица перелетит ее, звук проскользнет. Но неодолимая сила притягивает и заставляет застыть. Этот рубеж непреодолим. Можешь только глядеть на Каменный сад, на Пространство без времени. И Прост-

ранство без времени становится бесконечностью. Все прекращается, тонет в забвении, кажется несущественным. У меня нет ни имени, ни возраста, ни тела.

Я смотрю на большие серые камни. Как острова возвышаются они над поверхностью из белых камешков. Наверное, я сама — одна из этих бесчисленных камешков и гляжу, в свой черед, из Каменного сада через сизую межу, на мир времени. Игры, где есть Правила и я. Взгляды сливаются. Я и здесь, и там. И нет никаких преград.

Надо мною скользит легкая тень облака. Это облако то же самое, что скользило по небу в тот миг, когда родился Каменный сад. Свидетельницы — бамбуковые рощи — затрепетали и затаили свою нескончаемую песню.

Лилия ДИНЕРЕ (1989)

Р. С. В древнем японском городе Нара стоит храм монастыря Годайдзи (VIII в.). В нем находится одна из величайших в мире бронзовых статуй Будды — высотой 16 метров. Этот Будда символизирует Великое Солнечное Излучение, и свет его проникает в самые мрачные уголки Вселенной.

В городе Киото, в монастыре Рёандзи, находится один из самых знаменитых каменных садов, заложенный в XV веке на основе принципов дзэн-буддизма. Пятнадцать камней лежат на усеянной мелкими камешками поверхности. Единственное тут растение — мох, которым покрыты основания этих больших камней. Этот сад — символ Просветления. Монах, создавший его, был живописцем.

Л.

## НЕСКОЛЬКО ГРАНЕЙ З. Н. ГИППИУС

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869—1945) была не только известной поэтессой, критиком, мемуаристом, автором нескольких сборников рассказов и романов, но и одной из центральных фигур литературной жизни дореволюционного Петербурга, направлявшей литературный процесс и во многом определившей философско-эстетическое содержание русского символизма. В дружеском общении с Гиппиус, хозяйкой литературного салона Мережковских (Дмитрий Сергеевич Мережковский, муж Гиппиус, религиозный писатель и мыслитель; 1866—1941), в разное время состояли ведущие столпы эпохи символизма: А. Л. Волынский, Н. М. Минский, В. В. Розанов, Ф. К. Сологуб, А. А. Блок, Андрей Белый, В. Я. Брюсов, Н. А. Бердяев и множество других литераторов различной ориентации второго ряда; многие из них, в том числе Блок, Белый, Бердяев, испытали несомненное воздействие ее идей и личности. Гиппиус была «вдохновительницей, подстрекательницей, советчицей, исправительницей, сотрудницей чужих писаний, центром преломления и скрепления разнородных лучей» (Адамович Г. *Одиночество и свобода*. Нью-Йорк, 1955, с. 157), в петербургском доме Гиппиус «вонистую творили культуру. Все здесь когда-то учились» (Белый А. *Арабески*. М., 1911, с. 415). «Дружбы» с Гиппиус не были, однако, продолжительными; ученики неизбежно уходили, иные — с «проклятиями», вспоминая об общении с ней как об опасном искусстве; сама же Гиппиус искренне не понимала «измен» бывших друзей (часто ею же, всем стилем

ее литературно-бытового поведения и спровоцированных), считая «верность» своим непреложным человеческим качеством.

Одна из первых в поэзии и первая в прозе (сборник рассказов «Новые люди», 1896), Гиппиус принесла в русский символизм новое лирическое сознание и новых героев с их обесцениванием жизни, страшными, неисполнимыми желаниями — но не мечтательными, не грезящими, а действительными, императивными: «Мне нужно то, чего нет на свете» («Песня», 1893). В особенности герои прозаических книг Гиппиус казались либерально-народнической критике вышедшими из «Палаты № 6». Казалось бы, налицо полный разрыв с традицией, но традицией ближайшей (традиции русской классической поэзии в лирике Гиппиус несомненны). Переоценки, совершавшиеся Гиппиус единолично и в общем русле символистского движения, коснулись прежде всего самой «жизни» — этой, в сущности, коренной мифологемы мировой поэзии; в лирике Гиппиус и некоторых других символистов она утратила свою мифологичность и таинственность, обаяние неразгаданной бесконечности, обернувшись — вдруг — воплощением «безобразия», этического и эстетического, лишенным формы бытием материи. Мир стал «пустым» («Пуста пустыня дождевая...» — «Август»), это — «Пустынный шар в пустой пустыне», в нем ничего не происходит, а только «длится»: «Единый миг застыл — и длится, / Как вечное раскаянье... / Нельзя ни плакать, ни молиться... / Отчаянье! Отчаянье!» («Земля»). Как страшною,

но норму приняла — или утвердила? — Гиппиус опустошенность, одиночество мира и в мире, его раздробленность и разобщенность — главный, по ее мнению, «грех» ее поколения. Однако, если верить ее признаниям, современная душа заслуживает такого мира, Гиппиус не устает обнажать ее двоящуюся срединность, не способную к постоянному волевому усилию — идти по пути преображения своей косной природы; это душа «плененная», «тяжелая», «равнодушная» и «усталая», «несвободная» и «бессильная». Собирательным образом такой души стало широко известное стихотворение «Она» (1905), написанное, как и все стихи Гиппиус, от мужского лица:

В своей бессовестной и жалкой  
низости,  
Она как пыль сера, как прах  
земной.  
И умираю я от этой близости,  
От неразрывности ее со мной.

\* \* \*

О, если б острое почуял жало я!  
Неповоротлива, тупа, тиха.  
Такая тяжкая, такая вялая,  
И нет к ней доступа — она  
глуха.

«И эта мертвая, и эта черная, /И эта страшная — моя душа!» — заключает стихотворение Гиппиус. Если прочесть его как обычную психологическую исповедь, то ничего безотраднее нет в русской поэзии. А между тем это суд, и суд безжалостный и пристрастный. Мы привыкли думать, что своя душа, в отличие от потемок чужой, хотя и сложна и запутанна, но открыта собственному в нее взглядыванию. И в момент «разговора» с ней — понятна и прозрачна. Гиппиус же знает, что за чертой разума и честной рефлексии остается непроницаемая часть души, нечто пассивное и тупое, недоступное внесению в него света и смысла: «И нет к ней доступа — она глуха». А Гиппиус хочет абсолютной проницаемости, абсолютного преображения.

[Мысли о преображении человека и мира, его земной плоти стали основным содержанием ее религиозной проповеди с начала 1900-х гг., когда Гиппиус выступила инициатором «Религиозно-философских собраний» (1901—1904) и издания журнала «Новый путь» (см. примечания 7 и 8). Этим

мыслям она отвела достаточно места и в сборнике литературно-критических статей «Литературный дневник» (1908), вышедшем под неизменным псевдонимом Гиппиус-критика Антон Крайний.] И в исполнении этой главной, с ее точки зрения, задачи сама человеческая душа не всегда может быть союзником. Не только с «глухими» провалами своей души борется Гиппиус, но и с более ясными ее «соблазнами»: одиночеством («Великие мне были искушенья /Я головы пред ними не склонил. /Но есть соблазн . . . соблазн уединенья . . . /Его еще никто не победил» — «Соблазн», 1900), уклоном к небытию, смерти, которая порой оказывается такою же «пустой», как и жизнь, но чаще — не страшным, а желанным извращением.

Кто же является оруженосцем, верным рыцарем и надежным союзником в этой борьбе? Да собственное «я» человека, его личность, предельно сознающая и свободная. Свободное «я» в поэзии Гиппиус, помимо свободы самоопределения и отрицательной свободы — от желаний и страстей (но не любви: любовь в ее лирике и прозе всегда символ истинной свободы и духовного спасения, в особенности же любовь неразделенная), означает еще и волю: «Мысли без воли — нецарственный путь» («Нагие мысли», 1902). В творчестве Гиппиус постоянны императивные мотивы сохранности и сотворения души, которая, по ее мнению, до сих пор не «досоздана» (один из путей к этому — бегство от счастья — мотив, традиционный в русской лирике: Баратынский, Тютчев, Лермонтов; вспомним также завет Жуковского в письме А. И. Тургеневу — «не счастливить, а разрабатывать душу»). Уткинский сборник, М., 1904, с. 22), утверждение смелости ее «хотений», «свершений», обязательности ее предельного самовыявления. Требующее постоянного напряжения воли самовыявление предполагает отказ от покорности и смирения, и Гиппиус этот отказ решительно проповедует, не считая, однако, его «нехристианским» и не приравнивая к своеволию. Напротив, именно к Богу она обращается со своими требовательными молитвами — освятить желания и мятежность, самое непокорство не смиряющейся души, укрепить ее веру и волю, дать силы на свою, «нерабскую» дорогу. Гиппиус пребывает в уверенности,

что все сущностное, неизгоящее и тем более высшее в ее «я» — от Бога, что через ее волю действует — или должна действовать — воля божественная, которую в случае особенной важности допустимо направить: «Но ниспошли освобождение, / Твою любовь, Твое спасение — / Кому хочу» («О другом», 1901). Богочеловеческое в состоявшейся человеческой личности Гиппиус постулирует не как возможность и даже не как проблему, а как данность (обсуждению этой «тезы» посвящены многие рассказы ее сборников «Третья книга рассказов», «Алый меч», «Черное по белому», 1902—1908). Оттого ее «я», очищенное до «я» метафизического, однородно родственно божественному, порождая желание расширяться до его пределов: «Как Бог, хотел бы знать я все о каждом, / Чужое сердце видит как свое, / Водой бессмертия утолять их жажду — / И возвращать иных в небытие» («Идущий мимо», 1924). Как бы ни осложнялись в творчестве Гиппиус традиционные христианские темы и образы, как бы ни переплетались вера и безверие (невозможность молитвы, мотив «запертых дверей»), Бог до конца жизни оставался неотступной точкой ее сознания.

С 1920 года Гиппиус в эмиграции, стихов пишет мало, активно сотрудничает в периодике. Приняв февральскую революцию — Гиппиус надеялась на революционно-творческое, религиозное, а не революционно-разрушительное обновление жизни — к Октябрьской революции она отнеслась крайне враждебно, в 1918—1919 гг. написала цикл «мстящих» антиреволюционных стихов. С 1921 года жила в Париже; по «воскресеньям» у Мережковских собирались различные поколения русской литературной эмиграции (1925—1940). Неприятие большевистской России естественным для Гиппиус образом сочеталось с ностальгическими мотивами («Господи, дай увидеть / Молось я в часы ночные. / Дай мне еще увидеть / Родную мою Россию», б/г), пророчествами о ее воскрешении: «Она не погибнет — знайте» («Нет», 1918). Гиппиус ненавидела всякую деспотию, нацизм, Гитлер для нее был «дьявол», «маньяк», «берлинский бесноватый». Однако ее известная непримиримость к советской России, а также выступление по радио Мережковского в 1939 г., в Биаррице,

приветствующее немцев, дали основание в эмигрантских кругах, доведя позицию Гиппиус «до логического конца», говорить о ее «профашистской» ориентации, «поддержке Гитлера» в его войне против СССР» (Струва Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956, с. 88) — утверждение, повторяемое, в силу неизученности вопроса, и в нашей современной периодике: в «Литературной газете» (1987 г., 30 сент., 21 окт.), в журнале «Родник» (1988, № 1, с. 23), впервые поместившем подборку стихотворений Гиппиус, включая стихи эмигрантского периода. Позднейшие зарубежные исследования опровергают эти утверждения (см. Z. Hippus. An Intellectual Profile. Land Amst, 1971, p. 279—283; Т. А. Пахмусс, более 30 лет изучающая биографию и творчество Гиппиус, пользовалась помимо литературных и архивных источников и воспоминаниями о Гиппиус ее современников.

\* \* \*

Но вот мы открываем мемуары и видим другую Гиппиус. Нет ни «учительности», ни позы литературной «жрицы», высокомерной и эстетствующей (в своих критических статьях Гиппиус, однако, всегда обличала и индивидуализм, и декадентство: «Проповедь против декадентов особенно всех поражала у Зиночки», — вспоминал в своем «Дневнике» Брюсов (М., 1927, с. 109), ни даже (почти) полемической остроты, намерения победить литературного собеседника. Есть чистый интерес к человеку ицего творческого и психологического склада, желание и умение увидеть в нем то, чем он обладает, а не чего лишен. И оттого такими привлекательными предстают «знаменитые старики», «седоволосые друзья» Гиппиус: А. Н. Плещеев, Я. П. Полонский, П. И. Вейнберг, Д. В. Григорович, включая А. С. Суворина — отнюдь не ее единомышленника. Эти разные типы «русских личностей», людей русской культуры Гиппиус относит к поколению 1840—1870-х годов, благотворная роль которого для русской литературы в ее глазах неоспорима. А ведь против взглядов людей этого поколения — демократических, либеральных, народнических, с их традиционными заветами «общественного служения», Гиппиус-критик неоднократно выступала, в лучшем случае

их взгляды были для нее недействительны. «Где неизбежный разрыв между поколениями, где необходимая связь? Есть ли связь? Куда повернули дети, куда пойдут внуки? (с. 157) — Гиппиус в мемуарах не отвечает на эти вопросы, не обсуждает их, но знаменательно, несмотря на «разрыв», редкое для нее стремление вписать — и вписаться — в одну, общую традицию русской литературы разнохарактерные, по литературному значению и умонастроению, явления литературного процесса. «Благоухание седин» еще раз подтверждают не до конца нами осознаваемое: литературная традиция передается не только через творческое влияние и полемико (приемы и идеи, литературные герои и прототипы и т. д.), но и поверх собственно литературных барьеров, творческих установок — через литературные предания, репутации, восприятие жизненного облика, литературно-бытового поведения писателя: сама биографическая конкретная личность писателя — носитель культурной традиции и ее проводник.

Для Гиппиус именно такое восприятие чуждого ей поколения оказалось связующим, крепящим русскую литературу звеном, не устранившим «разрыв», но отводящим мысль об окончательном обрыве. Мемуары открывают еще одну ипостась Гиппиус. Традиционные заветы и «идеалы», об исчерпанности которых она так много говорила, не отменяются ею, а живут — в подпочве ли, на периферии или в свернутой глубине сознания. «Моральная чистота», «способность на подвиг и жертву», «душевная крепость», рыцарство («А скажут ли, что не было этого духа <рыцарства. — Л. Щ.> в тогдашней литературе нашей, да и во всей русской интеллигенции?» (с. 159) — кажется, нигде более не писала Гиппиус с такой определенностью об этих чертах поколения 1840—1870-х годов, включая сюда и Белинского, Писарева, Чернышевского. Правда, она отказывается считать их «материалистами», в крайнем случае Гиппиус согласна называть их материалистами «идеалистическими, романтическими»: «настоящий» материализм «всегда туп и нетерпим, роковым образом самодоволен. Он представляет из себя культурный срыв и неизменно кончается потерей личности» (с. 158).

Но вот Чехов. Разве личность Чехова не несет в себе черты той же нравственной чистоты и душевной «цельности»? Гиппиус этого не отрицает, как и его большого таланта, но Чехову все в упрек: он и «без лет», и не «благоухает», не знает «узлов», связующих внешнее и внутреннее, статичен, он — «гений неподвижности» и вообще «нормальный писатель момента» (с. 133—135). Видимо, признать, и благожелательно признать, значение литературного поколения, в сущности ушедшего со сцены, к тому же чуждого, с собственными искажениями не пересекающегося, и естественнее и легче. Чехов же — живая и действенная литературная сила, он для Гиппиус «чужой» актуально, принципиально творчески неприемлемый. Что Гиппиус с ее поэтикой «пределов» не принимает в Чехове «нормы» — это понятно. Здесь она только схематично повторяет развернутые к нему претензии из своего «Литературного дневника» (статья «О пошлости», «Быт и события»), где, в частности, отмечает соблазн чеховского «покою» и «неподвижности», из которых «нет другого пути, как в последнюю слабость последнего замерзания»; Чехов для Гиппиус «пророк небытия, и даже не полного небытия, а уклона к небытию» («Литературный дневник», с. 223—224). Однако как раз в такой интерпретации Чехов одной стороной близок Гиппиус — тем «соблазном», с которым она сама борется с переменным успехом. Но именно этим «неборющийся» Чехов и раздражает Гиппиус; и оказывается, что, помимо прочего, он виноват и в том, что «все дары ему отпущены сразу... Что внутри есть — то и есть; чего нет — того и не будет» (с. 133; Гиппиус даже забыла, что Чехову предшествовал Хемингуэй). А ведь это типологическая формула дарования самой Гиппиус, многими отмечаемая, а в конце жизни ею не сформулированная: «У меня — остается разданное, все равно какое, но то же. Бутон может распуститься, но это тот же самый цветок, к нему ничего нового не прибавляется», — как написала она в своей последней неоконченной книге «Дмитрий Мережковский» (Париж, 1951, с. 42). Отношение Гиппиус к Чехову — еще один вариант (инвариант) творческого поведения; возможность пересечения, даже в проекции, не вдохновляет именитых современников.

Что касается страниц о Толстом, то они ничего не прибавляют ни образу яснополянского старца, ни самой Гиппиус, но оставляют впечатление безусловной правдивости, не часто достигаемой при описании литературных паломничеств.

Публикация мемуаров Гиппиус, напи-

санных, как отмечал при их появлении В. Ф. Ходасевич, «и в литературном смысле блестяще» («Современные записки», 1925, т. 25), как и ее письма и дневники, — надежный путь начавшегося нового знакомства с З. Н. Гиппиус.

Юрий ФЕЛЬЗЕН

## У МЕРЕЖКОВСКИХ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Вопрос модный и, в сущности, очень страшный — о русской литературной смене. «Там» все более зажимают рты. В интимном разговоре жаловался один советский писатель, имени которого, конечно, не назову, как теперь трудно оставаться писателем, то есть, чтобы печатался и не запрещали. Прежде довольствовались лояльностью, сейчас — нужна активная пропаганда.

Чем яростнее «пропагандные» требования, тем, разумеется, ниже литературные качества. Там — истинная литература ушла «в катакомбы»; писатели, и официально признанные и другие, бескомпромиссные, отказывающиеся при такой цензуре печататься, где-то собираются, в глухо-замкнутых московских и «ленинградских» кружках. Там они читают совсем не то, что мы читаем в «Звезде» или «Красной Ниве». До широкой публики это «не доходит».

Не помню, когда и у кого за границей возник этот печальный вопрос о «смене». Одним из первых на него откликнулись Мережковские, со свойственной им живостью и каким-то особенным «чувствованием момента». Откликнувшись, они немедленно начали действовать.

Пожалуй, главное отличие Мережковских — Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Гиппиус — от большинства других русских писателей — в этой самой действительности. Они не только пишут, не только создают идеи, но и пытаются эти идеи как-то применять к жизни.

В Петербурге у них — религиозно-философское общество (или они в религиозно-философском обществе), в Париже — «Зеленая Лампа».

За последние годы мне часто приходилось видеть Мережковских среди именно такой наполовину практической работы, и никогда я не мог понять, в ком именно из них двоих эта действительная сила и умение ею пользоваться заключены. То мне казалось, что Дмитрий Сергеевич, с его пророческим жаром, с общительным высоким пафосом, не может входить во все скучные мелочи и что Зинаида Николаевна предпринимает необходимые дипломатические шаги. То казалось обратное, будто З. Н., умный, тонкий и скептический собеседник, безразлично отворачивается от «мелочей» и будто Д. С. все преодолевает напряжением своей воли.

Надо сказать, у Мережковских — необычный культ воли. Вероятно, не одному молодому писателю выносился грустный приговор: «талант есть, но не хватает воли — все это ни к чему и ничего из этого не выйдет».

Мережковские, в частности З. Н., не стесняются быть строгими и справедливыми, вопреки общему мнению, что к литературной молодежи следует относиться снисходительно, что «излишней строгостью можно загубить молодое дарование». Зато лишь немногие так стараются отыскать эти самые «молодые дарования», как именно З. Н., и потому так болезненно ее затронул вопрос о «смене».

Года четыре с половиной тому назад, случайным гостем, я сидел у них в

---

«Сегодня» — № 212.

маленькой столовой, которую знает весь русский литературный Париж. Говорилось о молодых людях, что-то пишущих, никому неизвестных, нигде не печатающихся. З. Н. расспрашивала с необыкновенным участием и любопытством:

— Мы хотим, как в Петербурге, каждую неделю устраивать литературное чаепитие. Приходите в следующее воскресенье и приводите кого-нибудь. Единственное условие — чистота в смысле антибольшевизма.

В следующее воскресенье появилось довольно много молодежи, но, увы, молодежь оказалась великовозрастной, и вопрос о смене стал еще острее. Правда, среди пришедших — в большинстве не моложе тридцати лет — были люди интересные и даже замечательные. За все четыре года таких воскресных собраний состав гостей изменился сравнительно мало.

Каким-то сплоченным кругом, с переладываниями, пересмеиваниями, с некоторой отчужденностью от других, явился петербургский «Цех поэтов» — Георгий Иванов, Адамович, Оцуп, Одоевцева. Особняком держались так называемые парижские поэты — Ладинский и Терапьяно — объявившиеся только в эмиграции. Ходасевич и Берберова лучше других знали хозяев дома и были приняты как старые знакомые. Молодой философ Бахтин все время сидел молча и с явно оппозиционным видом. Таким оппозиционером остался он и впоследствии. Были еще М. О. Цетлин-Амари и парижско-петербургский критик Мочульский. Всех сразу не припомню.

Тогда же, с первого дня установился негласный ритуал приема, который соблюдался всегда. Можно было подивиться, как быстро возникают во всяком обществе неискоренимые в дальнейшем привычки.

Дверь неизменно открывает Злобин, ближайший друг Мережковских, которого я помню в Петербурге молоденьким студентом, читающим стихи, растягивая их «по-гумилевски». Теперь взрослый, как и все мы, куда нет настоящей молодежи.

Первых гостей Злобин вводит в уютную приемную, уставленную книгами и похожую на кабинет. Впрочем, у Мережковских обстановка непривычная для русского парижанина — непривычная. У них квартира еще с мирного времени,

когда они дружили с Савиновым, и, кажется, по своей воле эмигрировали.

В приемной разговор случайный и немного сплетнический — о чьей-нибудь статье или стихах, о каких-нибудь обидах и недоразумениях. Иногда раннему и наивно-точному гостю приходится сидеть одному, пока З. Н. придет с прогулки, или же Злобин закончит свои хозяйственные распоряжения. Он любезно и крайне умело исполняет обязанности хозяйки дома и никому не доверяет секрета, где можно купить вкусные булочки и пирожные.

Но вот появляется в приемной, с лорнетом в руках, З. Н., стройная, тонкая, прямая и ошеломляюще молодая.

— Почему вы не были в прошлое воскресенье?

Или:

— Читала вашу статью, и, простите, ничего не поняла. Какая-то сплошная жвачка...

Бывают и милостивые мнения, но главное — З. Н. все помнит, все отмечает, за всем следит.

Через некоторое время быстро входит Д. С. в бесшумных домашних туфлях, не раз уже описанных, и, подавая руку, низко кланяется с какой-то намеренно старомодной вежливостью. Он среди сплетнического разговора явно нетерпеливо молчит. Ему скучны все эти толки и пересуды.

— Зина, довольно говорить о пустяках. Лучше пойдем чай пить.

Мы направляемся в столовую, и там происходит неожиданная перемена. Все как-то подтягиваются, разговор сам собой становится обобщающим и отвлеченным. Д. С. оживает и забывает о скуке.

То первое собрание было несколько натянутым и церемонным. Гости сами не заговаривали и ждали вопросов З. Н. Незаметно установилось, что З. Н. как бы ведет собеседование, и надо сказать, делает это чрезвычайно искусно.

Тогда, за чаем, говорилось, кажется, о символизме, и мне, новичку, показались удивительными точность, быстрота и находчивость ответов. Впоследствии я освоился и понял, сколько за всем этим готового и условного. Но и в дальнейшем «чаепитийные» разговоры у Мережковских нередко бывали занимательными и остронапряженными.

Понемногу гости оттаяли, перестали стесняться хозяев и как-то привыкли

друг к другу. Почти все начали видаться между собой и помимо воскресных собраний. У большинства возникли товарищеские отношения, а о «неприятельских» злословить не буду. Но тогда вначале чувствовалась еще неловкость и резкая прямота З. Н. невольно многих смущала. Так один безыизвестный поэт прочитал какие-то свои стихи. Все ждали одобрительных слов. Вдруг, среди общей тишины, З. Н., даже не улыбнувшись, безапелляционно сказала: — Это вы взяли у меня...

Подразумевался не плагиат, подражание, но положение бедного поэта было достаточно нелегким. Однажды, не без труда, уговорили Одоевцеву прочитать раннюю ее «балладу об извострике». Очаровательно изящная, устремив к лампе свои «зеленоватые глаза», воспетые еще Гумилевым, и, чуть-чуть хрипло картавя, Одоевцева произнесла нараспев:

Извозчик лошади говорит: ну!

Лошадь подымает ногу одну...

Приговор был неожиданный:

— Вы пишете, как Вова Познер.

— Почему не Познер, как я?

И действительно, Одоевцева была права. Это она изобрела жанр полуфантастической современной баллады, и познеровская «Баллада о дезертире», в свое время наделавшая много шума, появилась после ее «Баллады об извострике».

О чем только не говорилось на этих воскресных собраниях. Толстой, политика, большевики, религия, Марсель Пруст, русские символисты, французские неокатолики, греческая трагедия... Всего не перечислить и не запомнить. У Мережковских свои давние продуманные взгляды. С ними постоянно несогласен Бахтин, человек любопытный и даже поразительный. Петербургский студент, он проделал германскую и белую войну и служил почти пять лет в Африке, в Иностранном легионе. Говорит, что никогда не был так счастлив, так душевно-спокоен, как именно в легионе. После ранения его уволили, и вскоре в литературно-утонченнейшем винаверском «Звене» появились философские статьи Бахтина, сразу его выдвинувшие. Эти статьи удивляли своей точностью, вескостью, какой-то внутренней убежденностью. Таков же Бахтин и в своих выступлениях. Он говорит мужественно, твердо, не запинаясь, и я видел не раз, как лучший русский оратор, Маклаков,

внимательно прислушивался к речам Бахтина.

У Мережковских он — антихристианин, эллинист, безбожник. Всякая попытка переубедить вызывала его негодование. Помню укоры Д. С.

— Вот вы произносите кощунственные слова, а ваша христианская душенька, наверно, томится.

Бахтин оставался непреклонным. В один прекрасный день он перестал бывать у Мережковских. Исчез и для своих ближайших друзей, заперся у себя дома и засел писать.

Другой постоянный оппозиционер Адамович. У него, если можно так выразиться, талант честности, искренний подкупающий тон и манера не «выступать», а «разговаривать». Даже и в своих докладах он именно «разговаривает», как будто перед ним не аудитория, а несколько старых его товарищей. У Мережковских он оппозиционер не извне, а изнутри, не безбожник, а сомневающийся, и потому его слова иногда особенно опасны и неотразимы.

Кроме постоянных гостей бывают и случайные. Припоминаю одну почтенную даму, которая пришла с воскресным визитом и от «умных разговоров» незаметно для себя уснула. Бывают также и знаменитости — Бунин, Алданов, Тэффи. Бунин, если не живет на юге Франции, приходит сравнительно часто. Он слушает, чуть-чуть недоверчиво и все же благожелательно улыбаясь. Алданов в литературном кругу известен тактичностью и деликатностью. Он всегда спрашивает, перед тем как войти, не мешает ли, нет ли каких-нибудь секретов. От Тэффи ожидают словечек и острот. Но она серьезна и приводит к случаю церковные средневековые тексты, которых никто из нас не помнит.

На воскресных собраниях у Мережковских зародилась «Зеленая Лампа». О ней следовало бы поговорить отдельно. Председателем был как-то единодушно назначен Георгий Иванов. Он им и оставался все четыре года. Петербургский акмеист, соратник и собутыльник Гумилева, Мандельштама, Кузмина, Георгий Иванов сразу угадал, каков будет «уклон» «Зеленой Лампы», с докладами о христианстве, о Розанове, о юдаизме.

— Никак не думал, что именно мне придется быть представителем религиозно-философского общества.

У Мережковских заседания «Зеленой Лампы», доклады, контрдоклады и прения обсуждались вперед настолько подробно, что иногда казалось, будто происходит репетиция. Однажды Ладинский не выдержал и мрачно заявил:

— А теперь всей труппой в Копенгаген.

Все же отношение к «Лампе» было у всех серьезное и сосредоточенное,

и самые «репетиции» происходили от чрезмерной добросовестности.

В последний год наряду с молодежью тридцати- и сорокалетней появилась и действительно «зеленая молодежь». Но первое появление ее было не здесь, а в других местах, в литературных кружках не очень известных, однако же чрезвычайно любопытных. И о них, как и о «Лампе», следовало бы рассказать отдельно.

Зинаида ГИППИУС

## БЛАГОУХАНИЕ СЕДИН

### О МНОГИХ

#### 1

Можно ли писать о тех, кого встречал в годы ранней юности?

Можно, только очень трудно. Юность занята собою, на окружающих смотрит вполглаза. Самый неблагодарный — да и неприятный — возраст 17—20 лет<sup>1</sup>. К жизни еще не привык; к себе самому тоже; ни жизни, ни смерти, ни людей не понимаешь, а между тем убежден, что отлично все видишь, понял и даже во всем слегка разочаровался.

Досадно это юное невнимание к внешнему, усиленное внимание к себе. Но оно естественно, ничего не поделаешь. Я буду писать о юных встречах, — о знаменитых стариках, — просто что замечалось и что как запомнилось (соблюдая всегдашнее мое правило — держаться лишь свидетельства собственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук — опасно сливаются со сплетнями). Если придется кое-где упоминать о себе — прошу меня извинить: это возраст. Седовласые друзья мои извиняли не только неблагодарный возраст, но и соответственно неблагодарный вид мой: вид и манеры избалованного подростка. Журналы уже печатали мои «произведения», но и это не делало меня солиднее.

Старая литература в то время была на кончике. Достоевский, Тургенев,

Алексей Толстой умерли; но некоторые, если не столь знаменитые, — все же известные, — «высоко держали знамя» русской литературы: были живы Полонский, Майков, Плещеев, Григорович, Вейнберг... не говоря о других, ныне забытых.

Был, наконец, жив Лев Толстой (его, впрочем, мне пришлось увидеть много позже).

Признаться, меня в первое время удивляло, что и эти «еще живые». Удивляло не разумно, конечно, а в ощущении: если в хрестоматии учить стихи Пушкина, Полонского и Плещеева, если с одиннадцати до шестнадцати лет одинаково читаешь Гоголя, Толстого, Григоровича и Достоевского — начинает казаться, что всех их, без изъятия, давно нет как людей — есть их книги. Это, впрочем, странное чувство, его трудно передать, а юности оно свойственно.

Первым знакомцем моим был Плещеев. С него у меня и началось влечение к «благоуханным сединам». «Благоухание седин» — не теперешнее, а именно тогдашнее мое выражение.

А. Н. Плещеев заведовал стихотворным отделом «Северного вестника» (самая первая редакция: Анна Михайловна Евреинова с мопсом, издание Сабашниковой).

Мы пригласили Плещеева обедать и решили постараться: знали, что он любит покушать.

Приехал он с очень тонкой любезностью: привез мне на прочтение



Мы бывали в семье Плещеева и запросто. Сына его тогда не помню, а лишь вторую жену, Катерину Михайловну, ее дочь, молоденькую Любочку, и дочь Плещеева от первого брака Леночку, представительную, красивую блондинку с изящными руками.

К нам Плещеев любил приходиться один, обедать или так. Мы болтали о стихах и о чем придется. Ему нравилась моя живопись и юность: уверял, что юность его вообще «расшевеливает».

О стихах мы, однако, говорили больше о редакционных, и если о литературе — то скорее о современных литературных делах и делишках. Раз, впрочем, Плещеев рассказывал о Некрасове: как Некрасов, поздно ночью, читал ему у себя, вслух, только что написанную поэму «Рыцарь на час». И читал так, что когда дошел до известных строк обращения к матери:

... Уведи меня в стан  
погибающих  
За великое дело любви, —

то и Плещеев, и сам Некрасов (кажется, был еще кто-то) — плакали, Плещеев даже рыдал, уронив голову на стол.

Плещеев рассказывал об этом очень просто, но когда рассказывал — было понятно, что и нельзя иначе, и что сам в ту минуту, верно, так же бы плакал.

Никогда Плещеев не говорил ни о Полонском, ни о Майкове. И вот я, приглядываясь к петербургской жизни, делаю открытие: существует какая-то черта, разделяющая литературных людей, литературных стариков, да и всех вообще, пожалуй. Есть, оказывается, «либералы», как Плещеев, Вейнберг, Семевский, и затем другие, не либералы или менее либералы. Самым худшим считался, еще не знакомый мне, старик Суворин, редактор «Нового времени». Газету все читают, а писать в ней «нельзя».

Но как, все-таки, удивляло меня вначале: вот два поэта, их мы и называть привыкли вместе, и в хрестоматиях они рядом, и оба «живы»: оказались, и в одном городе живут: Плещеев и Полонский. А никогда не видятся, друг у друга не бывают... Лишь понемногу начинаю я разбираться. Полонский? Да, и он старый русский поэт, и в тех же хрестоматиях

напечатан, и так же небогат, как Плещеев, и даже в квартире, чуть лучше плещеевской, почти такие же низкие потолки, — только и разницы, что она на самой вышке, на пятом этаже, а плещеевская совсем на тротуаре. И у Полонского в семье молодёжь — юная дочь, сыновья-студенты... Но Полонский — цензор. Теперь ли цензор, или был во время оно — не знаю, однако уже понимаю смутно: Плещеева, с его прекрасной, почтенной бородой и стихотворением «Вперед, без страха и сомненья!» — должна разделять некая бездна с цензором, который «запрещает». У П. И. Вейнберга тоже великолепная борода (в другом стиле) и свое, соответственное, стихотворение, «Море» —

Бесконечной пелену  
Развернулось предо мною...

и Вейнберг тоже не бывает на пятницы Полонского-цензора...

Таковы мои первые, формальные, наблюдения. Детали от меня еще ускользают: почему мы — я, Мережковский и другие молодые литераторы и даже некоторые не совсем молодые — можем бывать и у Плещеева, и у Полонского... и ничего? Почему у Суворина, к примеру, и мы бывать не можем, хотя он не цензор?

Но эти детали не очень беспокоят меня; я с удовольствием, пока что, иду и к Полонскому.

## 2

«Пятницы» Полонского — совсем другое, нежели вечеринки Плещеева. Разницу я еще не могу определить, ибо это оттенок, но я ее чувствую.

Большая зала с окнами на две улицы, Знаменскую и Бассейную (вышка Полонского — угловая). Во всю длину залы — накрытый чайный стол (часто, бывало, думаю: и откуда такая длинная скатерть?).

За столом — гости.

Сухоньская, улыбающаяся хозяйка (вторая жена Полонского, Жозефина А.). У окон где-то рояль, а в самом углу, над растениями, громадная белая статуя... Амура, кажется. Ее отовсюду видно, в зале только она да этот чайный стол.

Гостей всегда много, но не тесно, ибо гости меняются: когда приходит



ему было в высокой степени наплевать.

Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! Писатели, артисты, музыканты . . . Тут и гипнотизер Фельдман, и новременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн . . . На ежегодном же вечере-монстре, в конце декабря, в день рождения Полонского, бывало столько любопытного народа, что казалось, «весь Петербург» выворотил свои заветные недра.

Хозяин сидел там же, на том же месте, за письменным столом, и торжественно принимал поздравления. Впрочем, однажды, в этот день, он продвинулся на своих костылях в залу; ненадолго, лишь пока Антон Рубинштейн, оторванный от игры в карты и набросившийся на клавиши, с таким озлоблением и с такой силой терзал рояль, точно это был его личный враг.

Все комнаты отворены и все полны народу. Никаких танцев (и карточный стол всего один, специально для Рубинштейна: по пятницам же карты никому не разрешались). Гости все солидные, с сановными лицами и даже со звездами . . . Жена гр. Алексея Толстого, изящно-некрасивая, под черным покрывалом, как вдовствующая императрица, улыбается тем, кого ей представляют . . . Мне подумалось: а ведь это ей написано:

Средь шумного бала, случайно,  
В тревоге мирской суеты,  
Тебя я увидел, но тайна  
Твои покрывала черты . . .

Все ли знают, что бал этот — маскарад, «тайна» — просто маска, и покрывала она редко-некрасивые черты лица?

Люблю ли тебя — я не знаю,  
Но кажется мне, что люблю . . .

Какая магия в этом стихотворении! И какое волшебство — душа человеческая! Не видел лица — и лишь «казалось», что любит. Увидел, — такое некрасивое (в молодости она была еще некрасивее) — и вот, — уже наверно знает, что любит . . .

Среди толпы, то в той, то в этой комнате, прохаживался, особняком, какой-то странноватый человек. Мы с ним

все поглядывали друг на друга, я на него, он на меня. Не очень высокий, худощавый, походка неторопливая, зацепляющая каблуками пол. Бледный . . . старик? нет, неизвестного возраста человек-существо, с жилистой птичьей шеей и — главное (это-то меня и поразило) — с особенно бледными, прозрачно-восковыми, большими ушами. В этих ушах было даже что-то жуткое.

Все ходит ушан, все посматривает. Ни с кем не говорит. Нет, вот остановился, разговаривает с дочерью Достоевского . . . Опять пошел. И возвращается. Ах, теперь они о чем-то разговаривают с Минским. Надо спросить Минского.

Но Минский затерялся в толпе и нашлся только через долгое время, когда ушан совсем исчез.

— Скажите, пожалуйста, кто это был . . . с ушами? Подошел к вам недавно, у окна?

— Как, вы не знаете? А он меня о вас спрашивал. Да это Победоносцев!

### 3

Я вернусь к Полонскому, ибо помню еще одну черту в нем, не лишенную интереса, но сейчас мне хочется дорисовать милый облик все-таки первого из моих старых друзей — Плещеева.

Мы часто виделись, а если не виделись — то писали друг другу записочки и даже целые письма. Когда же летом разъехались — он на дачу, на станцию Преображенскую, мы — под Москву, переписка наша стала необыкновенно оживленной. Я как будто вижу его маленький-меленький черный почерк, на небольших почтовых листиках, по линейкам. О чем только не писал он мне! И о стихах, и о жизни, и о людях, и о даче . . . Но тон был всегда прелестный: никогда — как старший пишет младшему; детская и нежная шутливость, ну совсем точно не лежало между нами четыре десятка лет.

Писал о журнальных делах . . . И вдруг, однажды, такое письмо: « . . . скажите Дм. С-чу (Мережковскому), чтобы он не спешил искать издателя для своих двух книг, и к Суворину подождет бы обращаться: я, может быть, сам их издам. Вы удивитесь, спросите, откуда у меня деньги? Дело в том, что случилась неожиданность: я, кажется, скоро буду богат, и очень богат . . . »

Действительно, неожиданность: на голову Плещеева свалилось громадное наследство. Боюсь напутать, но, кажется, от какой-то дальней родственницы, на которую он и рассчитывать почти не мог. Наследство спорное; однако после хлопот его утвердили, и Плещеев очень быстро, со всей семьей, уехал в Париж.

В тот год, к весне, и мы с Мережковским решили съездить недель на шесть за границу — в Италию.

Это было мое первое заграничное путешествие<sup>2</sup>. По России-то пришлось покататься — «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», — но Европа... ведь Европа совсем другое!

И она захватила меня с самой Вены. Венеция, первый итальянский город, так навсегда и осталась в воспоминании «самым первым городом на свете».

Мы жили там уже две недели, когда раз Мережковский, увидев в цветном сумраке св. Марка сутулую спину высокого старика в коричневой крылатке, сказал:

— А ведь это Суворин! Другой, что с ним — Чехов. Когда они выйдут на площадь, я поздороваюсь с Чеховым. Он нас познакомит с Сувориным. Буренину я бы не подал руки, а Суворин хоть и того же поля ягода, но на вкус иная. Любопытный человек, во всяком случае.

Чехова мы оба считали самым талантливым из молодых беллетристов. Мережковский даже недавно написал о нем статью в «Сев. вестнике»<sup>3</sup>. И, однако, меня Чехов мало интересовал: детское убеждение, во-первых, что все равно никто из теперешних не сравнится с Гоголем, Толстым и Достоевским, а во-вторых, и безотносительно писанья Чехова казались мне какими-то жидкими. Ну, а познакомиться со «страшным» Сувориным — хотелось: и привычка к старикам, да и любопыт-но.

Я отступаю от моей темы, касаясь Суворина: ведь его седины — совсем не «благоухали»! Позволяю себе такое отступление ради интереса, который имеет его характерная для России личность.

Но ранее я, кажется, дерзну на еще большую вольность: скажу несколько слов о Чехове. А у него не только не было «седин», но даже чувствовалось, что никогда никаких и не будет. Не оттого, что приходила мысль о его ранней смерти. Но оттого, что Чехов —

мне, по крайней мере, — казался природно без лет.

Мы часто встречались с ним в течение всех последующих годов; и при каждой встрече — он был тот же, не старше и не моложе, чем тогда, в Венеции. Впечатление упорное, яркое; оно потом очень помогло мне разобраться в Чехове как человеку и художнике. В нем много черт любопытных, исключительно своеобразных. Но они так тонки, так незаметно уходят в глубину его существа, что схватить и понять их нет возможности, если не понять основы его существа.

А эта основа — статичность.

В Чехове был гений неподвижности. Не мертвого окостенения: нет, он был живой человек, и даже редко одаренный. Только все дары ему были отпущены сразу. И один (если и это дар) был дар — не двигаться во времени.

Всякая личность (в философском понятии) — ограниченность. Но у личности в движении — границы волнующиеся, зыбкие, упругие и растяжимые. У Чехова они тверды, раз всегда определены. Что внутри есть — то есть; чего нет — того и не будет. Ко всякому движению он относится как к чему-то внешнему и лишь как внешнее его понимает. Для иного понимания надо иметь движение внутри. Да и все внешнее надо уметь впускать в свой круг и связывать с внутренним в узлы. Чехов не знал узлов. И был такой, каким был — сразу. Не возрастая — естественно был он чужд и «возрасту». Родился сорокалетним — и умер сорокалетним, как бы в собственном зените.

«Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента», — сказал про него однажды С. Андреевский. Да, именно — момента. Времени у Чехова нет, а момент очень есть. Слово же «нормальный» — точно для Чехова придумано. У него и наружность «нормальная», по нему, по моменту. Нормальный провинциальный доктор, с нормальной степенью образования и культурности, он соответственно жил, соответственно любил, соответственно прекрасному дару своему — писал. Имел тонкую наблюдательность в своем пределе — и грубоватая манера, что тоже было нормально.

Даже болезнь его была какая-то «нормальная», и никто себе не представляет, чтобы Чехов как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед

невестой в припадке «священной» эпилепсии, опрокинув дорогую вазу. Или — как Гоголь постился бы десять дней, снег «Чайку», «Вишневы сад», «Трех сестер» и лишь потом — умер. Иногда Чехов делал попытки (довольно равнодушные) написать что-нибудь выходящее из рамок нормального рационализма. Касался «безумия» (не безумие ли Гоголь, не безумие ли черты Достоевского и даже старец Зосима, да и Толстой не безумец ли со своим «Хозяином?»), но у Чехова в таких вещах выходило самое нормальное сумасшествие, описанное тонко, наблюдательно, даже нежно, и — по-докторски извне. Или же получалась — это гениально сказал про «Черного монаха» один мой друг — просто «мрачная олеография».

Так же извне смотрел Чехов и на женщину, — ведь он мужчина! и в нем самом ни одной черты женской! Он наблюдает ее, исследует ее; нормально ухаживает, если она ему нравится, нормально женится. Очень показательны в этом смысле его письма (недавно выпущенные) к невесте и жене. Как все в них «соответственно», все на своих местах, и как «нормально»!

Чехов, уже по одной цельности своей, — человек замечательный. Он, конечно, близок и нужен душам, тяготеющим к «норме» и к статике, но бессловесным. Он их выразитель «в искусстве». Впрочем — не знаю, где теперь эти души: жизнь, движение, события все перевернули, и Бог знает, что сделали с понятием «нормы». Ведь и норма — линия передвигная; Чехов был «нормальный человек и писатель момента», т. е. и нормы, взятой в статике.

Отступление мое, однако, затянулось. Давно пора вернуться в Венецию.

«Страшный» Суворин (он даже у «цензора» Полонского не бывал!) мне понравился. Какой живой старик! Точно ртутью налит. Флегматичный Чехов двинулся около него, как осенняя муха. Это Суворин «вытащил» его за границу и явно «шапронировал», показывая ему Европу, Италию. Слегка тыкал носом и в Марка, и в голубей, и в какие-то «произведения искусства». Ироничный и умный Чехов подчеркивал свое равнодушие, норочло «ничему не удивлялся», чтобы позлить патрона. С добродушием, впрочем: он прекрасно относился к Суворину.

Но было в Чехове немножко и настоящего безразличия к «чудесам Европы». У него уже имелся на них свой, чеховский, взгляд. Суворин, смеясь, с досадой жаловался.

— Вот, все просится скорее в Рим. Авось, говорит, там можно где-нибудь хоть на травке полежать!

Последние дни в Венеции мы провели почти вместе. Всякий вечер гуляли по городу, потом шли пить «фалерно» в роскошный длинный салон суворинских апартаментов, в лучшей гостинице на Канале. Салон этот был увешан венецианскими, безрамными, зеркалами и люстрами со сверканьем стеклянных подвесок. Золотое фалерно тоже сверкало. И все были веселы. Веселее всех — Суворин. Болтал без умолку, даже на месте усидеть не мог, все вскакивал. Каждую минуту мы с ним затевали спор. Спорил горячо, убеждал, доказывал, отстаивал свое мнение и... вдруг останавливался. Пожимал плечами. Совсем другим тоном прибавлял:

— А черт его знает! Может, оно все и не так.

Меня эти его переверты, к собственному мнению презрительные, тогда просто забавляли. Лишь вдолге (мои личные отношения с Сувориным Венецией не кончились; встречались мы, положим, редко, случайно, но временами начинали переписку, довольно резко) — лишь очень вдолге стал мне понятен глубокий душевный нигилизм этого примечательного русского человека. Талантливый, с хитрецей умный, он всего себя, черт знает почему, даже без удовольствия, душевно выпустил в трубу. По-русски.

Очень русское было у него и лицо. Как у Плещеева, как у Полонского. Но Плещеев, хоть и звал «вперед, без страха и сомненья», был настоящий русский барин, родовитый, мягкотелый, с широкой повадкой, с лянцой. В чертах Полонского — меньше добродушия; мелькало что-то, чуть-чуть, от петербургского чиновника. Настоящим чиновником, из важных, смотрел красивый, сухонький, подобранный Майков с пронзительно-умными глазами. Должно быть, Тургенев имел барственно-помещичий вид: его не сохранил, или не достиг слишком живой и мелочный Григорович, когда (в те годы) устроил свою прическу и бордону «совсем под Тургенева».

А у Суворина было — тоже русское, но русское мужицкое лицо. Не то что грубое, и сказать, что в Суворине оставалась мужиковатость — никак нельзя. Но неуловимая хитринка сидела в нем; и черты, и весь облик его — именно облик умного и упрямого русского мужика. Седоватая борода не коротко подстрижена; глаза, из-под густых бровей, глядят весело и лукаво; зачесанные назад волосы (прежде, верно, русые) еще не поределели, только залыси на лбу. Оттого что высок — сутулится, голова немного уходит в плечи.

Моя живость, очевидно, нравилась ему, как Плещееву; но чужая молодость, чтобы самому молодеть около нее, была ему не нужна: имелся как будто достаточный запас собственной.

Вечера наши кончались тем, что Суворин и Чехов шли нас провожать в нашу скромную гостиницу. Я — впереди с Сувориным, за нами Чехов и Мережковский. Пока мы продолжаем наш спор, и Суворин горячится, и отлетает во все стороны полты его коричневого размахайки, — Чехов ровным баском своим рассказывает, что любит здесь, попозднее, спрашивать каждую итальянскую «девочку», — *giunto*? Более подробных наблюдений, за неумением говорить по-итальянски, ему не удается сделать, так по крайней мере хоть узнает, до чего может дойти дешевизна. Он уже встретил одну, которая ответила ему: «*сип-гве*»...

Мы все в одном и том же купе выехали в Пизу. Дорогой спорили о Буренине. Впрочем — не спорили: на все мои резкости Суворин виновато пожимал плечами и говорил:

— Да черт его знает... Нехороший человек, нельзя сказать, чтобы хороший...

Начиная с Пизы, Суворин и Чехов стали нас неудержимо обгонять. Из Пизы они уехали через несколько часов, на другой же день. Во Флоренции мы их застали на кончике — Чехову Флоренция вовсе не понравилась. Ехали маршем-маршем. В последний раз столкнулись в Риме, в белой церкви Сан-Паоло. Солнечный день. Голубые и розовые пятна — от цветных стекол — на белом мраморе. Опять живой и быстрый Суворин, медлительный Чехов... Уж не знаю, удалось ли ему тут, в Риме, где-нибудь «на травке полежать»...

Мы рассчитывали быть в начале мая уже в России. Но вот середина мая, а мы — в Париже! В новом для меня Париже, с совсем еще новенькой Эйфелевой башней, — ведь ее не так давно, к последней выставке, построили. Еще и парижане к ней не привыкли.

Что же случилось?

Случилось, что пришел в Рим очаровательное, нежное письмо Плещеева: раз уж мы за границей — как не приедем к нему? «... Ну, хоть ненадолго, если б вы знали, как тут хорошо! Май — лучший месяц в Париже. Приезжайте прямо в мою гостиницу...»

Гостиница эта оказалась отелем *Mirabeau* (тогда еще не перестроенным). Широкий балкон плещеевских апартаментов выходит на улицу, и прямо передо мною — скромная, золотая вывеска «*Worth*». Налево сереет Вандомская колонна, внизу весело позванивают бубенчики флакоров.

— Правда, хорошо? — спрашивают нарядные дочери Плещеева, показывая мне «свой» Париж. — А как вас папа ждал!

Старик тоже с нами. А потом мы пьем чай на круглом столе, в салоне. Алексей Николаевич оживлен. Очень обрадовался мне — да и я ему. В нем, впрочем, есть какая-то перемена. Не та, что вот, вместо низкой залы на Спасской, он сидит в кресле парижского отеля на *rue de la Paix*. Но он похудел, осунулся и в кресле сидит тяжелее; он, несмотря на оживление, больше «старик», чем был в Петербурге, когда взбирался к нам на пятый этаж<sup>4</sup>.

Но это еще едва заметно. Париж его «*расшевеливает*», говорит он, как вечная молодость. Дома не сидится. Мы ходим с ним по улицам, едем в Булонский лес, а вечером — в кафе *des Ambassadeurs*, где молоденькая, тоненькая *diseuse* в черных перчатках, *Ivette Guilbert* производит фурор.

Бывает, что обед особенно вкусен (а Плещеев любит покушать); раз, после особенно плотной трапезы, он сказал: «Ну, теперь ведите меня в *assommoir*!» И тотчас же сам добродушно расхохотался над собой:

— Тыфу ты, я хотел — в *ascenseur*! А лакеи-то глядят на меня: обедал-обедал, и вдруг еще ведите старика в *ассомуар*!

Но и тут, отдохнет немножко, — и опять за цилиндр (он стал франтом): — Пойдемте, хоть так, по бульварам пройдемся, поглядим! . . .

Внезапное богатство, после нужды, да еще на старости лет, хотя бы для человека и состоятельного когда-то, — вещь нелегкая. А то, что разбогател Плещеев, «передовой» (как тогда говорили) поэт, со всем своим «светлым» прошлым (он был замешан в дело Петрашевцев и даже приговорен к смертной казни) — все это положения не облегчало, а очень осложняло.

Однако могу засвидетельствовать, что неожиданная перемена судьбы не исказила ни одной черты в образе этого милого человека. Напротив, его нежная, по-русски немного безалаберная доброта, его невинное, трогательное эпикурейство только подчеркнулись. Он радовался каждой мелочи в Париже; радовался голубому небу, потом, в Швейцарии, и голубому морю в Ницце; радовался так, что на него весело было смотреть. Любил каждый трепет жизни, хватался за него, чувствуя, верно, что жизни уже немного осталось.

Сказал как-то:

— Что мне это богатство? Ведь вот только радость, что детей я смог обес-

печить, ну и сам немножко вздохнул . . . перед смертью.

Здоровье его действительно очень пошатнулось, и даже на зиму он в Петербург не приехал; а очень хотел. С тех пор в России он бывал только летом, в Петергофе на даче. Там мы с ним, после Парижа и Ниццы, и виделись. Эти два года были для него решительным подарком Судьбы. Воистину жизнь «блеснула ему улыбкою прощальной».

«Вечерний день» его отгорел в Париже, поздней осенью. Кажется, он умер без страданий, внезапно.

Серый сумрак Казанского собора, панихида. В толпе замечаю, там и сям, мерцающие седины моих друзей — сверстников Плещеева.

При выходе Петр Исаевич Вейнберг наклоняет ко мне белую бороду и шепчет:

— А знаете, ведь хорошо, что он умер. Наследники выиграли дело, и все, что осталось, у него бы отняли. К счастью, он успел обеспечить семью.

Если так — тем удивительнее маленькое чудо, прощальная улыбка Судьбы, посланная этой милой, детской душе.

Окончание следует

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Мемуары охватывают период с 1889 по 1904 год, когда Гиппиус, ставшая женой Мережковского [в 1888 г.], в 1889 г. переехала из Тифлиса в Петербург и начала входить в литературную среду.

<sup>2</sup> В Италию, весной 1891 года; впоследствии Мережковские часто выезжали за границу.

<sup>3</sup> Имеется в виду статья «Старый вопрос по поводу нового таланта» («Северный вестник», 1886, № 11).

<sup>4</sup> Посещение Гиппиус Плещеева в Париже относится к 1891 году.

# КАРТОТЕКА ЮРАСОВА VI



1. АБЕЛЬ Вольдемар Янович (1895—?)  
Член КПСС с 1918 года. В РККА с 1918 г. В гражданскую войну — начальник саперных команд и подразделений, дивизионный инженер. В 1925 г. окончил Военно-инженерную академию РККА, затем служил в инженерных войсках. Необоснованно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
2. АБИХ Рудольф Петрович [1901—1937 «ВМН»]  
Член КПСС с 1918 года. Востоковед. Участник гражданской войны. Работал в Азербайджане. В 1929—1935 гг. работал над книгой о В. Хлебникове.
3. АБОЛИН Карл Иванович (1896—?)  
Член КПСС с 1918 года. Участник гражданской войны. В РККА с 1918 года. Помощник начальника НКВД по Златоустовской железной дороге. Арестован в 1937 году.
4. АБОЛИНЬШ Кристал Либович  
Жил в Латвийской ССР. Крестьянин. Незаконно репрессирован в 1946 году. Реабилитирован.
5. АВГУСТАН Михаил Донатович (1914—?)  
В РККА с 1936 по 1938 г. Командир отделения 255-го стрелкового полка. Арестован, осужден на 7 лет ИТЛ. Реабилитирован.
6. АВЕНС Вилма Робертовна (1921—?)  
Бухгалтер леспромхоза Латвийской ССР. В 1946 году репрессирована, осуждена на 10 лет. Реабилитирована.
7. АДАМСОН Ян Семенович (1892—1968)  
Член КПСС с 1912 года. Полковник. Участник гражданской войны. В РККА с 1918 года. Необоснованно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
8. АЙЗУПИТ Марта (1892—1975)  
Член КПСС с 1917 года. Доктор биологических наук, физиолог. Участница гражданской войны. В РККА с 1919 года. Старший научный сотрудник НИИ (г. Москва). Репрессирована в 1937 году. Реабилитирована.
9. АЙЗУПИТ Эмма (1884—1937)  
Член КПСС с 1905 года, участница революционного движения. В 20—30-х гг. жила в СССР. Незаконно репрессирована в 1937 году. Посмертно реабилитирована.

10. АКУЛА Александр Иванович [1870—1952]  
Колхозник в Латвийской ССР. Отец Акулы В. А. В 1946 году незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно.
11. АКУЛА Владимир Александрович [1920—!]  
Колхозник в Латвийской ССР. В 1946 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
12. АКУЛА Иван Мартынович [1897—!]  
Грузчик Ялтинского порта. В 1936 году незаконно репрессирован, осужден на 4 года ИТЛ. Реабилитирован.
13. АКУЛА Ольга Алексеевна [1887—!]  
Колхозница в Латвийской ССР. В 1946 году незаконно репрессирована, осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована.
14. АЛЕКСИС Эмма Роговна [1888—!]  
Жена Алексиса Х. К. В 1949 году выслана в места спецпоселения МГБ СССР.
15. АЛЕКСИС Регина Хуговна [1922—!]  
Дочь Алексиса Х. К. В 1949 году выслана с семьей в места спецпоселения МГБ СССР.
16. АЛЕКСИС Хуго Карлович [1890—!]  
В 1949 году выслан с семьей в места спецпоселения МГБ СССР.
17. АЛКСНИС Карл Индрикович [?!—июль 1941 г. «ВМН»]  
Крестьянин.
18. АЛКШАРС Освальд Кристапович [1907—!]  
Рядовой Военно-морского строительного управления МВД СССР. В 1946 году репрессирован, осужден на 10 лет. Реабилитирован.
19. АЛИНГ-СТЕПАНОВ Василий Яковлевич [1890—!]  
Жил в Прибалтике. В 1940 году незаконно репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
20. АМОЛИНЬШ Арнис Эдуардович [1931—!]  
Учащийся 8-го класса средней школы г. Риги. В 1946 году репрессирован, осужден на 10 лет. Реабилитирован.
21. АММАН Иван Фридрихович [1905—!]  
Токарь Московского чугунно-литейного завода имени П. Л. Войкова. В 1941 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
22. АНСИП Бруно Янович [?!—1941 г. «ВМН»]  
Крестьянин.
23. АПИН Эльвира Августовна [1885—13 мая 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС с 1905 года. Сестра Апина Р. А. Незаконно репрессирована в 1937 году. Посмертно реабилитирована.
24. АПИН Ян [1887—1937]  
Член КПСС с 1905 года. Участник революционного движения в Латвии. В 1923—1935 гг. работал в Москве, в 1935—1937 гг. персональный пенсионер. Реабилитирован посмертно.
25. АПЛОК Юрий Юрьевич [1891—1941]  
Член КПСС с 1918 года. Участник гражданской войны. В 1918 г. комдив. В 1930—1937 гг. в РККА. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
26. АППЕЛЬ Минна Яновна [1894—1943]  
Член КПСС с 1908 года. В 30-е годы на партийно-советской работе в СССР. Незаконно репрессирована в 1937 году. Посмертно реабилитирована.
27. АППЕН А. П. [1900—!]  
Член КПСС. Полковник. В 1936—1937 гг. служил в Белорусском военном округе. Незаконно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
28. АПРАН Артур Карлович [?!—1941 «ВМН»]  
Крестьянин.

29. **БАРДЗЕЛЬ Карл Яковлевич**  
Врач. В 1941 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
30. **БАРТЕЛЬС Бернгард Георгиевич** [?!—1 ноября 1937 г. «ВМН»]  
Член ВКП(б). Жил в Москве, работал в ИККИ.
31. **БАТИС Эрнест Иванович** [1892—5 июля 1938 г.]  
Член КПСС с 1913 года. Участник Октябрьских событий в Петрограде. На командных постах в ВМФ. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
32. **БАУМАН Мария Васильевна** [1895—?]  
Жена Баумана К. Я. [1892 г. р.] Участница гражданской войны. Вместе с мужем работала в Средней Азии, Москве. Незаконно репрессирована в 1937 году. Реабилитирована.
33. **БАУМАН Эрнест** [1878—13 июня 1938 г. «ВМН»]  
Котельщик на паровозе. Родственник Блюменталья Н. И. Арестован 3 марта 1938 года.
34. **БАУМШ Григорий Александрович** [1896—?]  
Диспетчер Мариупольского порта. В 1937 году репрессирован, осужден на 6 лет ИТЛ. Реабилитирован.
35. **БЕЙТАН Ян Иванович** [?!—1941 «ВМН»]  
Крестьянин.
36. **ВИЛИП Павел Иванович** [?!—1939 «ВМН»]  
Служил в Харьковском военном округе, военный работник. Арестован в 1938 году.
37. **ВИЛЬНИТИС Альберт Рейнович**  
Жил в Латвийской ССР. Рабочий. Незаконно репрессирован в 1946 году. Реабилитирован.
38. **ГАБРАНС Изуп Адамович**  
Рядовой срочной службы. В 1951 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
39. **ГЕДРОЙЦ-ЮРАГО Мирослав Адольфович** [?!—июль 1941 г. «ВМН»]  
Крестьянин.
40. **ГЕРТНЕР Арвид Янович**  
Жил в Латвийской ССР. В 1946 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
41. **ГЕРЦЕНБЕРГ Вера Робертовна** [1907—1988]  
Искусствовед. В 1938—1944 гг. репрессирована за мужа. Освобождена, была в ссылке. Реабилитирована в 1956 году.
42. **ГРЕЗЕ Рейнгольд Карлович** [1893—3 марта 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС с 1920 года. Участник гражданской войны. Начальник мастерских на заводе имени Лепсе (г. Москва).
43. **ГРИГС Изидор Антонович**  
Рядовой срочной службы. В 1951 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
44. **ДАУМЕ Ян Густавович** [1897—17 февраля 1938 г. «ВМН»]  
Мастер монтажного цеха завода «Двигатель революции». Арестован 4 января 1938 года.
45. **ДЕРИНГ Карл Вильгельмович** [1894—1937 г. «ВМН»]  
Инженер (г. Москва).
46. **ЗИМЕЛИС Гиральда Рихардовна**  
Жила в Латвийской ССР. В 1951 году незаконно репрессирована. Реабилитирована.
47. **ЗИСОРС-МАЙЕРС Женя Матисовна**  
Мать Зисорс-Майерс И. Ф. В 1948 году репрессирована МГБ Латвийской ССР.
48. **ЗИСОРС-МАЙЕРС Ирма Францевна** [1924—?]  
Крестьянка. В 1949 году репрессирована МГБ СССР.

49. ИЕСМИН Анна Марковна [1891—?]  
Жена Иесмина Р. Я. [1890 г. р.] Крестьянка. В 1949 году арестована МГБ Латвийской ССР.
50. ИЕСМИН Ирина Рудольфовна [1925—?]  
Дочь Иесмина Р. Я. Крестьянка. В 1949 году репрессирована МГБ Латвийской ССР.
51. КЕСТЕР Рейнгольд Петрович [1898 — 4 января 1939 г. «ВМН»]  
Член КПСС с 1917 года. Участник гражданской войны, Заведующий бакалейным отделом продовольственного магазина (г. Ленинград). Арестован 4 декабря 1937 года.
52. КЛЕЙНЕНБЕРГ Игорь Эрихович [1904 — год смерти неизвестен]  
Сын Клейенберга Э. К. Языковед. Жил в г. Ленинграде. Арестован в 1936 году.
53. КЛЕЙНЕНБЕРГ Эрих Карлович [1878—1937 ?]  
Преподаватель иностранных языков в Ленинградском педагогическом институте [1934 г.]
54. КРАЙС Альфред Карлович [? — 14 апреля 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС с 1905 года. Начальник Гпавбумсбыта. Арестован 14 октября 1937 года.
55. КРЕЙЦБЕРГ Агнесса Михайловна [1905—1961]  
Жена Крейцберга Ж. Л. Домохозяйка. Арестована 3 мая 1940 года, осуждена на 10 лет ИТЛ по статье 58-10.
56. КРЕЙЦБЕРГ Жан Людвигович [1892 — 11 января 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС, участник гражданской войны. Военный работник. Арестован 4 декабря 1937 года в г. Пушкине Ленинградской области, расстрелян по решению «двойки».
57. КРИСТИН Адольф Иванович [? — 18 апреля 1938 г. «ВМН»]  
Арестован в 1937 году в г. Москве.
58. КРУШ Вольдемар Иванович [1902 — год смерти неизвестен]  
Беспартийный. Бригадир на заводе (г. Ленинград). Арестован 19 ноября 1937 года.
59. КРУШКО Эльза Ивановна  
Жена Перчика Б. Э. [1904—1938]. В 1937 году репрессирована. Освобождена в 1939 году.
60. КУЛЛЭ Ирина Робертовна [1914 — ?]  
График, художница. В 1937 году незаконно репрессирована. Освобождена в 1939 году.
61. КУПЦИС Рейн Арвидович [? — 1937]  
Член КПСС. Участник гражданской войны.
62. ЛАНДАУ Густав Иванович [1887 — 25 декабря 1937 г. «ВМН»]  
Инженер в управлении строительства магистрали Москва—Минск. Арестован 7 апреля 1937 года.
63. ЛАЦ Николай Густовович [1900 — 14 марта 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС. Парторг Рославльского паровозного депо Смоленской области. Арестован 26 декабря 1937 года.
64. ЛЕВИТСКАЯ Надежда Григорьевна [1925 — ?]  
Беспартийная. Студентка Латвийского госуниверситета. Арестована в 1951 году МГБ Латвийской ССР, осуждена на 10 лет ИТЛ. В 1955 году реабилитирована.
65. ЛИНДАУ Софья Антоновна [1862 — год смерти неизвестен]  
Мать Линдау Э. В. 25 сентября 1928 года выслана из Ленинграда как СОЭ [социально-опасный элемент] в места спецпоселения, определенные НКВД СССР.
66. ЛИНДАУ Эдуард Вильгельмович [1893 — 19 мая 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС. Рабочий на заводе. Арестован 2 февраля 1938 года.

67. ЛОЛС Фридрих Вильгельмович [1898 — 14 октября 1938 г. «ВМН»]  
Агроном в «Заготзерне» Псковской области. Арестован 9 ноября 1937 года.
68. ЛОПС Владислав Донатович [1908 — год смерти неизвестен]  
Беспартийный. Бригадир на заводе [г. Ленинград]. Арестован 5 декабря 1938 года.
69. МЕРТЦ Александр Альфонсович  
В 1938 году необоснованно репрессирован в г. Москве.
70. МИКЕЛЬСОН Эдуард Петрович [1899 — 10 октября 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС с 1919 года. Механик чаеразвесочной фабрики в г. Сыктывкаре. Арестован 10 февраля 1938 года.
71. НАБЕЛЬ Жан Янович [! — 1938 «ВМН»]  
Военный работник.
72. НЕДРЕ Альберт Карлович [1900 — год смерти неизвестен]  
Нормировщик шахты № 15 Чистяковского района Сталинской области. В 1944 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
73. ОЗОЛ Карл Андреевич [1892—1938 «ВМН»]  
Член КПСС. Директор военного завода. Арестован в 1936 году.
74. ОЗОЛЬ Ян Карлович  
Член КПСС. Главный бухгалтер трансоргпита Наркомата пищевого  
СССР. Арестован 4 декабря 1938 года.
75. ОЛЬБЕРТ Л. А.  
Начальник управления капитального строительства АН СССР. В 1937 году арестован УНКВД г. Москвы.
76. ПАУЛИ Эдуард Андрианович [1899 — год смерти неизвестен]  
Зам. начальника по коммерческой части Астраханской сухогрузной пристани. В 1941 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
77. ПЕЛИХ Ян Янович  
Член КПСС. В 1934 году арестован в г. Ленинграде.
78. ПЕТЕРСОН Эмма Рейновна [1883 — 18 августа 1937 г. «ВМН»]  
Член КПСС с 1904 года. Жила в г. Ростове-на-Дону. Персональная пенсионерка. Арестована в 1937 году.
79. ПРЕТТЕР Карл Александрович [1896—1937]  
Член КПСС с 1917 года. В 30-е годы служил в армии. Бригадный интендант (1935 г.). Начальник отдела УОВС РККА.
80. РАУПСНАС Адам Раполович [1900—15 июня 1937 г.]  
Начальник Киевского эксплуатационного отделения Юго-Западной железной дороги.
81. РОЗЕНБЕРГ Александр Николаевич [1906—19 апреля 1938 г. «ВМН»]  
Рабочий. Репрессирован в 1937 году.
82. РОЗЕНБЕРГ Эрнст Эрнстович [!—1939 «ВМН»]  
Военный работник, служил в Харьковском военном округе. В 1938 году арестован НКВД.
83. РОЗЕНБЕРГ Ян Петрович [1889—2 ноября 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС с 1917 года. Участник гражданской войны. Жил и работал в Ленинграде.
84. РОЗЕНТАЛЬ Эдуард Фрицевич [1890—11 августа 1938 г. «ВМН»]  
Заместитель наркома НКВД СССР. Арестован 6 мая 1937 года.
85. РОЗЕНФЕЛЬД Фриц Фрицевич  
Рабочий. В 1949 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
86. РОЗИНЭК Николай Яковлевич [! — июль 1941 г. «ВМН»]  
Крестьянин.
87. РУБЕНС Павел Эрнстович [!—июль 1941 г. «ВМН»]  
Крестьянин.
88. РУДЗИТ Нания Карловна [1920—!]  
Жена Рудзита П. П. В 1949 году репрессирована МГБ СССР.

89. РУДЗИТ Павел Павлович  
В 1948 году репрессирован МГБ СССР.
90. РУДЭН Артур Карлович [?!—19 августа 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС. Лейтенант госбезопасности [Восточная Сибирь]. В 1937 году незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
91. СИЛИН Аусма Хербертовна [1932—?]  
Сестра Силина К. Х. В 1949 году выслана из Латвии в места спецпоселений МГБ СССР.
92. СИЛИН Карл Хербертович [1930—?]  
В 1949 году выслан из Латвии в места спецпоселений МГБ СССР.
93. СИЛИНА Антония  
Мать Силина К. Х. В 1946 году репрессирована МГБ СССР.
94. СИЛИС Ильза Андреевна [1883—?]  
Мать Остниек А. П. Крестьянка. В 1947 году репрессирована МГБ Латвийской ССР.
95. СКРИВЕРИС Вольдемар Карлович  
Жил в Латвийской ССР. В 1946 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
96. СМАЛЬГЕВИЧ Эдвин Карлович [?! — июль 1941 г. «ВМН»]  
Арестован НКВД в 1941 году.
97. СМИЛГА Иван Яковлевич [?!—июль 1941 г. «ВМН»]  
Крестьянин.
98. СПРОГИС Андрей Юрьевич [?!—июль 1941 г. «ВМН»]  
Крестьянин.
99. СТУРИТ Эмилия Яновна [1895—?]  
Член КПСС с 1914 года. Жила в Ярославле. В 1949 году незаконно репрессирована. Реабилитирована.
100. СТЫМБАНС Отто Андреевич  
Жил в Латвийской ССР. В 1946 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
101. ТУПИТ Николай Иванович [?!—июль 1941 г. «ВМН»]  
Крестьянин.
102. УНИВЕР Иван Иванович  
Жил в Кадыском районе Ивановской области. В 1937 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
103. ФЛИГЕРТ Андрей Иванович [1893—?]  
Рабочий станции Люблино железной дороги имени Ф. Дзержинского. В 1937 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
104. ФРАЙНДТ Август Фридрихович [?!—13 января 1938 г. «ВМН»]  
Мастер паровозоремонтного завода [г. Уссурийск]. Арестован 18 сентября 1937 года в Уссурийске.
105. ФРАНЦИС Карл Антонович [1898—?]  
В 1949 году с семьей выслан в места спецпоселений МГБ СССР.
106. ФРАНЦИС Мадия Андреевна [1920—?]  
В 1949 году репрессирована МГБ Латвийской ССР.
107. ФРАНЦИС Рудольф Карлович [1923—?]  
В 1949 году выслан с семьей в места спецпоселений МГБ СССР.
108. ФРАНЦИС Стефания Станиславовна [1925—?]  
Крестьянка. В 1949 году репрессирована МГБ Латвийской ССР.
109. ФРАНЦИС Херман Карлович [1922—?]  
Сын Франциса К. А. Крестьянин. В 1949 году выслан в места спецпоселений МГБ СССР.
110. ФРАНЦИС Эмилия Теофильевна [1894—?]  
Жена Франциса К. А. В 1949 году выслана с семьей в места спецпоселения МГБ СССР.

111. **ЦАУНС Ян Яковлевич** [1894—26 января 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС с 1918 года. Арестован 15 декабря 1937 года в Москве. Посмертно реабилитирован.
112. **ЦЕННЕ Артур Яковлевич** [1896—7 февраля 1938 г. «ВМН»]  
Член КПСС с 1919 года. Бригадный комиссар. Делегат XVI съезда ВКП(б). Начальник политотдела 24-й Самаро-Ульяновской дивизии.
113. **ШРЕДЕР Петр Мартынович** [!—1939 г. «ВМН»]  
Военный работник, служил в Харьковском военном округе. Арестован в 1938 году.
114. **ШТАЙНБАХ Федор Игнатьевич** [1914—?]  
Лесоруб. В 1941 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
115. **ЭЛЬМАНИС Хельман Рихардович**  
Жил в Латвийской ССР. В 1946 году незаконно репрессирован. Реабилитирован.
116. **ЭНГВЕР Николай Юрьевич** [!—18 августа 1938 г. «ВМН»]  
В 1937 году арестован НКВД СССР.
117. **ЭНИН Жан Фрицевич** [!—июль 1941 г. «ВМН»]  
Крестьянин.

(Продолжение следует)



Лилия Димере. Шаман букв (1987). Зеркало [1987]

*Уважаемая редакция!*

*Несколько более двадцати лет назад «объединенные силы государств — участники Варшавского Договора исполнили свой интернациональный долг», насильственно положив конец «пражской весне». Попытки создания в Чехословакии «социализма с человеческим лицом», как сейчас видно, были во многом очень созвучны тому, что ныне происходит у нас в стране. Лидером Коммунистической партии Чехословакии и движущей силой национального подъема был в те годы Первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек. С тех пор о нем ничего не слышно, и хотелось бы узнать, что он сейчас делает, как оценивает события конца 60-х годов . . .*

**В. Наумов, г. Рига.**

События «пражской весны» еще много лет будут привлекать внимание историков, политологов и социологов — так же как и личности ее руководителей. Отвечая на вопросы своих читателей, «Даугава» предлагает их вниманию два интервью Александра Дубчека, данных им западногерманской прессе. Они были опубликованы в ФРГ год тому назад, но переводчик И. Ланин сообщил редакции, что подготовленные им переводы около полугода лежали в редакции журнала «Знамя», где никак не могли принять решение относительно их судьбы, но наконец решили — не публиковать.

Итак — слово Александру Дубчеку.

### **«МОЕ ПРЕГРЕШЕНИЕ — В ТОМ, ЧТО Я ВИДЕЛ ИНОЙ ПУТЬ»**

— *( )* *вынужденном уходе со своего поста*

*«Были причины, делавшие мой уход неизбежным. Прежде всего — нараставшее давление со стороны советского руководства. Леонид Брежнев упрекал меня в «неповиновении». Разумеется, это осложняло отношения между нашими странами.*

*Мы надеялись, что в результате моего ухода обстановка стабилизируется. Самым важным было, чтобы обе стороны признали то, о чем была достигнута договоренность в ноябре 1968 года: отношения с Советским Союзом должны быть нормальными, открытыми. Обе стороны должны были проявлять добрую волю, быть честными в отношениях друг с другом. Если бы обе стороны предприняли серьезные усилия, дело не дошло бы до тех осложнений, которые возникли внутри партии и в нашем обществе в целом.*

*К сожалению, советская сторона вообще не проявила доброй воли. Было только лишний раз подтверждено, что цель наших соглашений лишь одна: мы — как более слабый партнер — должны были свои обязанности. И напротив, более сильный всегда сохранял за собой право нарушать наши соглашения в любое время. Сегодня политика советского партийного и государственного руководства принципи-*

ально отличается от политики Леонида Брежнева. Это оказывает благотворное влияние на все социалистические страны и изменяет отношения с западным миром.

— о времени своего вынужденного молчания:

«Здесь у нас просто не хотят смотреть правде в глаза. Ведь до сих пор тогдашний процесс обновления в Чехословакии представляется в совершенно искаженном виде, против него ведется пропагандистская борьба. Моим прегрешением было и остается то, что я — и в те времена, и сегодня — вижу иной путь изменения нашего социалистического общества. Из-за этого меня и подвергли травле. Руководители и исполнители ввода войск изображают меня враждебным народу, антисоциалистическим и антисоветским политиком. Но для этой роли я ни в коей мере не подхожу.

Меня обвиняют в том, что я, дескать, «служу буржуазной пропаганде». Но, однако, наш народ знает совершенно точно, у кого в нашей стране действительно твердые убеждения. И этим людям не удастся долгое время скрывать правду и препятствовать диалогу».

— о своей повседневной жизни:

«Я не хочу распространяться о том, что пришлось пережить моей семье, даже моим друзьям за прошедшие двадцать лет. Физическая работа меня не пугает. Все, что вы видите здесь во дворе, я сделал сам. Большая моя радость — три маленькие внучки и внук. Как и все дети, они любят животных. У нас собачка, кролики, пять кур. За ними нужен уход, и мои внуки любят возиться с ними. Работая по хозяйству, в саду, я отдыхаю душой».

— о своих надеждах на социализм с человеческим лицом:

«Я иду стопами своих родителей. Я остался верен своим социалистическим убеждениям, однако вижу, что социализм не может существовать без демократии.

Социализм и демократия должны быть двумя неделимыми частями единого целого. Мне представляется, что Западу и Востоку необходимо сближение в интересах всего человечества. Связанным с этим мне видится и обновление социализма. Я — сторонник обновления и реформ, приверженец тех преобразований, которые происходят теперь в Советском Союзе, в Китае и Венгрии

Здесь у нас меня обвиняли в том, что, приветствуя реформы Горбачева, я будто бы вбиваю клин в отношения между Советским Союзом и Чехословакией. Подобное могут утверждать лишь те люди, для которых жупелом стало любое обновление социализма. На словах эти люди объявляют себя сторонниками реформы, но в глубине души они желают ее поражения. Я поддерживаю любые условия, направленные на действительные преобразования, выступаю за обновление нашего социалистического общества и стою на стороне истинных борцов за это обновление».

**«Штерн», 18 августа 1988 г.**

### **«ТАКОГО ТЕКСТА Я НЕ ПОДПИСЫВАЛ»**

«ШПИГЕЛЬ». Когда двадцать лет назад советские войска были введены в Чехословакию, в Москве утверждали, что сделано это было по просьбе пражских товарищей.

ДУБЧЕК. А Васил Биляк, ныне секретарь ЦК по международным связям, даже утверждает в своем интервью «Шпигелю», что они были приглашены также и Дубчеком — это заведомо ложное высказывание, и очень серьезное.

«ШПИГЕЛЬ». Вы и Биляк принимали участие в последней встрече братских партий в Братиславе, состоявшейся незадолго до введения войск — 3 августа 1968 года. По словам Биляка, он подписал тогда вместе с другими членами чехословацкой делегации, а также вместе с вами, документ, согласно которому Чехословакия находилась под угрозой контрреволюционного переворота.

ДУБЧЕК. В этом и состоит кардинальный вопрос. Этим утверждением чехословацкие «приглашатели» и страны-союзники, участвовавшие в интервенции, обосновали военное вмешательство во внутренние дела нашей КПЧ. Передо мной лежит интервью Биляка, данное им «Шпигелю»: «Биляк. Вы помните конференцию государств — участников Варшавского Договора, состоявшуюся в Братиславе в первые дни августа? Сейчас я открою вам то, чего еще никому не рассказывал. Документ для этого заседания не был разработан референтами, как обычно. Руководители партий и правительств встретились лично и формулировали предложение за предложением: что ЧССР находится под угрозой контрреволюционного переворота и что

наш общий долг обязывает нас защищать завоевания социализма. После чего документ подписали все делегации, также и все чехословацкие делегаты — Дубчек, Смирковский, Черник, включая меня.

«ШПИГЕЛЬ». Но вы — не подписывали?

ДУБЧЕК. Конечно — нет. То, что Биляк утверждает, это — чудовищное вероломство. Я не подписывал подобного текста.

«ШПИГЕЛЬ». А другие сторонники преобразований — Смирковский, Черник?

ДУБЧЕК. Тоже нет.

«ШПИГЕЛЬ». Они не могут защитить себя . . .

ДУБЧЕК. Председателя парламента Смирковского уже нет в живых, как и президента Свободы. Я — жив. Поэтому мне хотелось бы и вашему журналу, опубликовавшему утверждение Биляка, дать правдивую свидетельскую информацию, в основе которой лежит подлинный подписанный документ. Читатель должен узнать и мою позицию.

«ШПИГЕЛЬ». Пожалуйста. Что говорилось в Братиславском заявлении о предполагаемой контрреволюции?

ДУБЧЕК. Ничего Тот пассаж документа, который Биляк «открыл» «Шпигелю», гласит:

«Поддержка, защита и укрепление этих завоеваний, которые были достигнуты героическими усилиями наций и самоотверженным трудом народа каждой страны, являются общим интернационалистическим долгом всех социалистических стран».

Далее. «Это является единодушным мнением всех участников совещания, которые выразили свою непреклонную решимость и в дальнейшем развивать и защищать завоевания социализма в своих странах, добиваться новых успехов в строительстве социализма».

«ШПИГЕЛЬ». «Общий долг» — это звучит похоже на брежневскую доктрину о преобладании общих интересов социалистических государств?

ДУБЧЕК. Данный тезис, при всем желании, невозможно истолковать таким образом, что допустимо военное вмешательство в дела страны без ее ведома и согласия. Документ исключает это.

«ШПИГЕЛЬ». А что еще в нем говорится?

ДУБЧЕК. Текст документа был опубликован полностью, в нем не содержится никаких тайных пунктов. Если вы перечитаете Заявление, вы убедитесь, что Биляк просто игнорирует следующую тезис:

«Участники совещания выразили свое непоколебимое стремление сделать все, что в их силах, для углубления всестороннего сотрудничества своих стран на основе принципов равноправия, уважения суверенитета и национальной независимости, территориальной целостности, на основе взаимной помощи и солидарности».

«ШПИГЕЛЬ». Это вы могли подписать?

ДУБЧЕК. Да. Но утверждение Биляка о существовании подписанного мною вместе с ним документа, согласно которому «ЧССР угрожает опасность контрреволюционного переворота», является фальсификацией документа, ложью. Такого документа не существует. Поэтому Биляк ничего не мог «открыть» вашему редактору. Тем не менее, сделав это, он, преследуя свои цели, умышленно сфабриковал подделку.

«ШПИГЕЛЬ». Да, но с какой же целью? Ведь со времени введения войск прошло столько времени.

ДУБЧЕК. Чтобы оправдать перед зарубежными странами трагические последствия противозаконного акта 21 августа 1968 года, который так тяжело отразился на всем чехословацком обществе. Биляк — и не только он один — действовал и продолжает действовать, руководствуясь личными интересами, в полном противоречии с интересами нашего народа и социалистического государства.

«ШПИГЕЛЬ». Сказанное Василем Биляком нам направлено также и лично против вас.

ДУБЧЕК. Он — и не только он один — хотел морально унижить меня перед народом нашей страны. Он пытался изобразить меня человеком двуличным, поэтому и назвал меня конским барышником.

«ШПИГЕЛЬ». Почему он это делает?

ДУБЧЕК. Жизнь, практика и время показали свое лицо; открыли они также и истинное лицо Биляка. Он старается дискредитировать меня перед нашим народом и перед мировой общественностью, потому что обо мне помнят как о человеке, кото-

рый остался верен себе и своему делу. Я не продался в обмен на изменения в политической программе. Я пошел на то, чтобы меня исключили из партии, но не отрекся от решения Президиума партии, принятого 21 августа 1968 года.

«ШПИГЕЛЬ». Президиум партии, то есть пражское Политбюро, осудило интервенцию.

ДУБЧЕК... военное вмешательство во внутренние дела Чехословакии. Это вмешательство было необоснованным и незаконным. Теперь читатели «Шпигеля» могут составить свое собственное мнение о сложности моей задачи защищать возрожденные социализма.

«Шпигель», 15 августа 1988 г.

## МОИ ВОПРОСЫ К М. ГОРБАЧЕВУ

Было бы хорошо, если бы вы удовлетворили интерес читателей к биографии Горбачева. Что он делал во время застоя? Как сопротивлялся брежневщине? Как он относится к Громыко и Шербицкому, которые были в Политбюро, а значит, принимали участие в изгнании и лишении гражданства А. И. Солженицына, в изгнании и ссылке в Горький А. Д. Сахарова, в травле П. Г. Григоренко, который умер на чужбине, в Америке? Может ли М. С. Горбачев назвать этих людей героями, борцами сопротивления сталинскому, брежневскому режимам?

Было бы неплохо, если бы наши лидеры дали оценку всему происшедшему с Сахаровым, Солженицыным, Григоренко и, если они ни в чем не виноваты, попросили бы у них прощения. Да, Сахарову вернули доброе имя, но никто из правительства не выступил в печати с официальными извинениями.

А. Румянцев.

г. Калининград, Московская обл

## ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ?

Я, как и миллионы советских людей, тоже жертва культа Сталина. Отец, простой рабочий, член партии, был арестован в 1937 году и погиб в лагерях в 1942 году, как явствует из справок МВД — от воспаления легких. Было ему 37 лет.

Мы, т. е. наше правительство, не устаем требовать от мирового сообщества наказания нацистских преступников, признав за аксиому, что приказ не является оправданием преступных действий. Естественно, возникает вопрос: как такая жесткая позиция в отношении военных преступников, с которой я целиком согласен, может сочетаться со всепрощением по отношению к палачам собственным, т. е. к тем работникам ГПУ, НКВД, МВД, КГБ, которые совершили такие же преступления против своих же сограждан — и по приказу, и по собственной инициативе? Эти преступления являются геноцидом по отношению к своему народу, преступлением против человечества, но остались совершенно безнаказанными. Более того, оставшиеся в живых жертвы живут подчас хуже палачей!

Безнаказанность палачей времен Сталина стала примером для работников МВД и КГБ, да и для других категорий, таких, как юристы, врачи-психиатры и др. Вообще, безответственность в нашем государстве приобрела катастрофические формы и масштабы. И что самое страшное — чем выше пост, тем явственнее безответственность. В лучшем случае возлагаем вину на покойников, а те, кто был рядом с ними, кто поддерживал все их начинания и сам совершал преступления против народа и партии, — или уходили на отдых, или продолжали занимать высокие посты. И это продолжается до сего дня.

Кризисное состояние нашего государства и общества — это результат и безответственности людей, стоящих у вершин власти — в Политбюро, Совмине и т. д., и бессилия наших законов по отношению к верховной власти.

Безнаказанность за преступления не может иметь места в правовом государстве.

С глубоким уважением

В. М. Гитлиц,  
шофер, ветеран труда, г. Харьков

## ПРИБАЛТИКА: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

... То, что происходит сейчас в вашей и других республиках Прибалтики, вызывает огромный интерес. Мы глубоко сочувствуем народам этих республик. Ваши успехи в борьбе за свободу — наша надежда. Хотелось бы, чтобы латышский и другие народы проявили мудрость и терпимость. Помните, нас топтали и топчут те же сапоги, что и вас. Мы все, как писал поэт, «рабы в своем отечестве, но с революционным стажем» (наш стаж, правда, побольше). И даже если нам придется ездить к вам через ОВИР — успехов вам, друзья!

С уважением **И. М. Шварц**,  
педагог, член совета уральского общества «Мемориал»,  
г. Свердловск

... Разве может идти в сравнение активная гражданская и политическая позиция жителей Прибалтики с рабской, другого слова не подберешь, покорностью и пассивностью жителей остальных регионов страны, привыкших жить в таких условиях, которые трудно назвать человеческими. Очень хотелось бы верить, что у латышского народа хватит стойкости и сил противостоять нападкам, исходящим как изнутри, так и из центра, всем тем, кто покушается на право народов на самоопределение.

Здесь хотелось бы сказать об отношении центральных органов к событиям в Прибалтике. Они не выдерживают испытания истинной демократией и гласностью, а не той, которая спущена ими сверху. Естественно, потому и центральные органы печати ведут игру в одни ворота — без права ответного голоса. Гласность и демократия, как минимум, предполагают наличие полного и неискаженного мнения противоположных сторон и их равноправия. У нас же пока голосом обладают только центральные органы.

Всего доброго. **Ю. Янкин**,  
г. Хабаровск

Вы бьетесь только для себя, на нас же (да, мы придавлены) вам всем наплевать. У нас во главе стоят немощные люди (четырёхлетняя свистопляска об этом говорит, половинчатость во всем). Если Лигачев заявляет: мы не позволим стихийности внутреннего рынка, — то что можно ожидать? Прибалты это видят, поэтому автономии и требуют. А повести все народы на схватку с этими «друзьями» не хотят. Общая же картина неприбалтов: хруст костей, народ пал ниц, придавленный государственно-партийной машиной сверху. Нам здесь, вне Прибалтики, и не подныться, и головы не поднять

**В. Червиченко**,  
г. Оренбург

## КАКАЯ ПАКОСТЬ!

Дорогая редакция! Любим ваш журнал за неплохое, в основном, содержание. Последнее же время бьются и абсурдные публикации, но все было терпимо, так как взгляд на события последних лет зависит от возраста, профессии и других факторов...

После же получения журнала № 1 за 1989 год мы решили в этом письме поздравить редакцию с особым успехом в связи с опубликованием «произведений» Иварса Пойканса. Особо поздравляем с тем, что сам журнал, именуемый литературно-художественным, общественно-политическим, счел уместным познакомиться его постоянных подписчиков с «произведениями», на наш взгляд, сексуально неуравновешенного, психически больного автора

Как можно допустить эту пакость на страницы многоуважаемого журнала?! Где чувство стыда, мера допустимого и просто человеческого?

Как бывший воин 43-й латышской стрелковой дивизии, я гордился тем, что служил в Риге, носил и показывал ваши современные публикации моим сослуживцам. ведь Латвия — страна эстетики, воспитанности и взаимоуважения. А сейчас мне стыдно за вас!

Конечно, давать «три года лагерей» за это не следует, ведь сам И. Пойканс того не стоит. Однако избирательно относиться к своим публикациям следует редакции в каждом номере журнала.

С уважением Р. Г. Хайт,  
г. Подольск, Московская обл.

## УВАЖАЕМЫЙ РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ!

Весьма сожалею, что наш выбор автора иллюстраций умалил Вашу гордость за годы службы в Риге, за Латвию — страну эстетики и проч. Как тут быть? Наверное, можно было бы попытаться пояснить позицию журнала, поговорить о праве художника на собственное видение мира, о нашей жизни, дающей чересчур обильную пищу для саркастического ума, о природе образного, метафорического мышления и законах гротеска и сатиры; в крайнем случае, можно опереться на имена великих художников прошлого и современности... Но стоит ли? Помня о «стране взаимоуважения», не буду навязывать Вам свою точку зрения, поскольку у меня нет никаких оснований сомневаться в том, что Вы действительно видите в работах И. Пойканса, как Вы выразились, пакость. Да и не нуждается латышский художник в адвокатах, хотя Вы и отве.ли себе роль прокурора, вернее, председателя «тройки».

«Три года лагерей» — такой подход к оценке творчества в нашей стране не оригинален. Но времена позорных судилищ над искусством, над человеческой мыслью миновали. Идет к закату святая инквизиция культуры — партийно-государственная цензура. (Поверьте, редакции совсем не хочется брать на себя ее функции — это по поводу избирательности.) Тем, кому подобный ход событий не по душе, могу предложить простой и успешно апробированный в недавнем прошлом способ цензуры индивидуальной: можно вырезать страницы с неприемлемыми иллюстрациями (публикациями), а на их место вклеить любые другие. Журнал за это не будет к Вам в претензии — плюрализм так плюрализм.

А что касается выписанного Вами с такой легкостью художнику психиатрического диагноза, — так и это уже было, было! И публичные оскорбления, обещания раздавить экскаватором, как лягушку, и даже прозвучавшее на всю страну высочайшее: «Пидарасы». Ей-Богу, поучительно.

С уважением Алла Петропавловская

Р. С. Поскольку, обращаясь к редакции от «мы», Вы не указали, чьи именно интересы выражаете — 43-й стрелковой дивизии, г. Подольска или всей Московской области, — ответ адресую Вам лично.

---

**Авторы снимков в тексте: Харийс Бурмайстарс, Артур Дубровский, Атис Иевиньш, Айвар Лиепиньш, Олег Зернов.**

---

Сдано в набор 06.07.89.

Подписано к печати 07.08.89. ЯТ 05931.

Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,

мелованная бумага. Офсетная печать.

Обложка и вклейки — высокая печать.

8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 14,50 усл. кр.-отт.,

11,00 уч.-изд. л. Тираж 80 000.

Заказ № 1262. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996.

отд. прозы 465992,

отд. поэзии 465998,

отд. критики и публицистики 465990,

техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,

226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор  
Мудите АРАЯ.

Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.





Великий Обитатель I.  
1985.  
Травление на цинке



Великая  
Обительница II.  
1985.  
Травление на цинке



Город I.  
1988.  
Шелкография.  
Фото  
Вилниса Зилбертса



Город III.  
1988.  
Иллюстрация  
к сборнику стихов  
Цецилии Динере  
«Борозда в Никуда»

45 коп.

Индекс 77123